

[Polaris]

КРОВЬ



АНГЕЛА

Мистическо – агитационная фантастика
Первой мировой войны

Том I

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

ССХIV



Salamandra P.V.V.

КРОВЬ АНГЕЛА

Мистическо-агитационная фантастика
Первой мировой войны

Том I

Составитель
М. Фоменко

Salamandra P.V.V.

Кровь ангела: Мистическо-агитационная фантастика Первой мировой войны. Сост. и прим. М. Фоменко. Том I. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 158 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCXIV).

«Кровь ангела» – первый том уникальной антологии мистическо-агитационной фантастики эпохи Первой мировой войны. Подавляющее большинство произведений, относящейся к этой забытой и неисследованной ветви фантастической литературы, переиздается впервые. Читатель найдет здесь истории о роковых предчувствиях, таинственных замках, призраках на поле боя, чудесном спасении и возмездии, написанные как безымянными пропагандистами, так и известными литераторами.

КРОВЬ АНГЕЛА

И. П-ский

ЛЕГЕНДА



Поспешное отступление, почти бегство немцев от О-кой крепости создало среди окрестных крестьян легенду, которую мне пришлось слышать от помещика г. М. Последний, рассказывая мне легенду, говорил, что будто бы происхождением своим легенда обязана рассказу одного немецкого солдата-познанца, рассказавшего о причинах отступления осаждавших войск жителям деревни Б. Передаю ее почти дословно.

На третий день пальбы по крепости, немцы, обозлившись, что им не удалось заставить замолчать крепостную артиллерию и разрушить форты, несмотря на массу выпущенных снарядов, решили, что между артиллеристами, среди которых было много познанских поляков, находятся изменники и повесили четырех поляков, солдат-наводчиков. По случайному совпадению, все повешенные носили одно и то же имя— Антоний.

Повешены солдаты были в воскресенье, как раз в тот час, когда в окрестных костелах ксендзы читали за литургией молитву об Евхаристии. Одновременно с молитвой священнослужителей, души повешенных предстали перед престолом Всевышнего с жалобой на несправедливую и позорную казнь.

Предстателем за души повешенных перед Господом Богом явился их патрон св. Антоний, которому Бог и поручил наказать нечестивых немцев.

И вот, в тот самый момент, когда немцы с особым ожесточением забрасывали О-кую крепость снарядами, перед их глазами совершилось чудо: на пути бомб и шрапнелей появилось облако, закрывшее от немцев крепость, и от этого облака снаряды стали отскакивать, как от стальной стены.

Изумленные немцы прекратили стрельбу.

Внезапно облако рассеялось, и появился благообразный старец с огненным мечом в руке и направился на немцев.

В старце познанские поляки опознали св. Антония. На них и на всех вообще немцев напал панический страх, и все они, невзирая на угрозы начальников, бросились в паническом страхе бежать, побросав орудия и снаряды.

Между тем, старец приблизился к немецким позициям, подошел к тому месту, где висели тела повешенных познанцев, и мечом перерубил веревки. Упавшие трупы старец благословил и исчез, как бы растаял в воздухе.

Бежавшие немцы только на другой день пришли в себя и вернулись к своим орудиям, но больше сражаться с русскими не захотели. Поспешно похоронили трупы повешенных на том месте, где их благословил св. Антоний, захватили свои орудия и быстро ушли за границу. Главный начальник их сообщил обо всем «кайзеру» и добавил, что он сражаться с русскими, за которых заступаются святые, не может.

А. Степанов

ДЕЛО С БЕЛОЙ ПТИЦЕЙ,

или белая птица и разрушенный костел

Дѣло съ бѣлой птицей, или бѣлая птица и разрушенный костелъ.

Рождественскій рассказъ А. Степанова.

Анеля Несвицкая, дочь мелкого чиновника, отправилась около 8 часов вечера в гости к бывшему почтальону Крагину, где, несмотря на тяжкие невзгоды войны, решили побаловать детей нехитрой елочкой. Там же, у Крагиных, обещал быть жених Анели. Дело это происходило в городке П., временно занятом немцами, и девушка, кстати сказать, — очень хорошенькая, весьма торопилась; во-первых, потому, что спешила встретиться с женихом, а во-вторых, потому, что после девяти часов пруссаки арестовывали прохожих.

Была ясная, морозная ночь. Анеля шла по рыночной площади, как вдруг услышала сзади торопливые шаги. Она оглянулась и с испугом убедилась, что к ней быстро приближаются три пьяных германца.

— Стой, стой! Остановись! — кричали они. — Пойдем с нами, а то худо будет!

Перепуганная девушка пустилась бежать. Скрыться было некуда: на пустых улицах никто не мог оказать ей помощи, да и не посмел бы; а ворота домов были крепко-накрепко заперты.

Солдаты, хохоча, нагоняли девушку; лошадиный смех их и цинические восклицания гнусно оскорбляли святую тишину великого вечера.

На площади, по которой, задыхаясь, бежала Анеля, стоял варварски разрушенный немцами, полуразвалившийся костел. Пробегая мимо него, девушка с радостным ужасом увидела, что костел, как ни в чем не бывало, стоит совершенно целый, и железные двери его открыты. Пораженная чудом, но, тем не менее, не потерявшая присутствия духа, девушка вбежала в притвор и быстро захлопнула за собой дверь

на толстую железную задвижку.

За дверью было тихо, не слышалось ни топота, ни криков солдат. Анеля открыла форточку в замерзшем окне притвора и выглянула.

То, что она увидела, поразило ее благоговейным страхом.

Солдаты стояли перед костелом, беспомощно вертясь во все стороны и размахивая руками.

— Я ослеп! — жалобно сказал один.

— Я ничего не вижу! — вскричал другой.

— И я, — сказал третий.

Анеля закрыла форточку. Сквозь морозное стекло виднелись еще некоторое время три силуэта; скоро они, поддерживая друг друга и спотыкаясь — удалились.

Девушкой овладело странное оцепенение; сердце ее сильно билось, и мысли мешались. В изнеможении закрыла она глаза, а когда открыла их, то увидела, что стоит посреди разрушенной паперти, и сломанная, распахнутая дверь по-прежнему висит на одной петле. Вокруг — беспорядочно наваленные камни и снег.

Опомнившись, она пробралась, наконец, к Крагиным и заночевала у них.

А на другой день в немецкий лазарет явились трое слепых, поседевших от страха солдат. Командир и врач долго говорили с ними наедине, совершенно секретно.

Вечером того же дня слепцы были тайно расстреляны за городом. Начальство признало, что их рассказ мог бы вредно повлиять на остальных, и не остановилось перед преступлением.

М. Б-р

ЛЕГЕНДА ЗАЧОРОХСКОГО КРАЯ



Легенда о горе «Отшельника» пользуется в Аджарии большой популярностью. Народная молва связала ее с текущей войной.

Незадолго до наступления турок в верхнюю Аджарию эта пустынная гора Зачорохского края стала местом паломничества аджарцев. На одном из ее выступов стоит необитаемая келья, высеченная из камня. Келья имеет свою историю, уже давно забытую. О ней вспомнили старики перед военной грозой. Вспомнили, созвали своих детей и внуков, и с той минуты келья стала центром благочестивых стремлений аджарцев. Вот она, эта легенда, со слов одного из пленных.

Вдали от мира, там, где гнездятся орлы да бушует вольный ветер, где никогда не ступала человеческая нога, поселился молодой прекрасный юноша. Он навсегда ушел от жизни и день за днем проводил в посте и молитве. Знамением того, что день его прошел безгрешным и угодным Аллаху, было утреннее солнце. Восхода его он ожидал на вершине горы, вознося хвалы Создателю.

И одну ненастную и бурную ночь, когда кругом все было погружено во мрак и грозные раскаты грома перекатывались по ущельям, отшельник стоял на молитве. Для него не существовало окружающего, он весь ушел в созерцание неба...

Раздался слабый стук. Громче... Нетерпеливее....

Очнулся отшельник. Переход от экстаза к действительности смутил его.

Кто это? Кто мог нарушить его покой вдали от всего живого на неприступной высоте?

Стук повторился...

Заблудший путник быть не мог, ему не место здесь. Так кто же? Ужель то испытание от Аллаха? Ужель искуситель мира избрал сей час и с дьявольскими кознями явился к нему в келью?

В смущении отшельник бросился ниц в жаркой молитве, и так, почерпнув силы, распахнул дверь кельи.

С порывом ветра, с потоком дождя кто-то темным силуэтом проскользнул с порога к потухшему очагу.

— Дай мне тепла и света, я изнемогаю... — слышался чуть слышный шепот...

С молитвой взял отшельник кремь, развел огонь и, когда в очаге весело и ярко вспыхнули сухие сучья, обернулся.

С овечьей шкурой за спиной, с прилипшим к стройному телу плащом стояла девушка-пастушка.

— Прости меня, я заблудилась. Пасла овец, как грянул гром, все стадо разбежалось, потом собралось в кучу, но не хватало трех. Пошла искать, страшась отцова гнева. Тут стало все темней. Не знала я, куда иду. Все выше... выше... И вот выступ, твоя келья, я увидела дверь и постучалась...

— Так ты пастушка?

— Да, а ты кто? Что тут делаешь? Зачем?..

— Я здесь служу Создателю. Молюсь Ему за мир, за весь греховный люд. Отшельник я.

— Отшельник? Но почему же нельзя остаться там, внизу? Зачем ушел ты от людей?

— Чтобы ближе стать к Аллаху, отрекся я от мира.

— Какой, однако, странный ты. Ведь Аллах же создал мир и создал столь прекрасным для нас же, для людей. Дал радость жизни нас, а ты ушел в печаль...

Ее горящие, как звезды, глаза глядели на него не то с упреком, не то с сожалением...

— Оставь, ты та поймешь... Ложись и отдохни... Я стану на молитву...

И отошел. Шли часы. Напрасно он читал псалмы: священные слова шли с уст, но не от сердца. Перед ним вставали яркие очи пастушки, звучала мелодия ее слов. Значение их жгло мозг...

Не в силах превозмочь себя, шатаясь, встал и подошел он к спящей. Как сладок крепкий сон. Как хороша улыбка. Змеятся косы по девственной груди.

Он наклонился ближе. Отпрянул, пламенея...

Опять приблизился. Уста к устам прижать хотя бы на миг единый... Один лишь только миг... Но нет. Со стоном бросился он прочь из кельи. Чуть брезжил свет. Гроза промчалась. Стихло все крутом.

Торопливо стал подниматься отшельник к вершине горы, — обычному месту, где он встречал солнце. Здесь пал он ниц в горячей молитве. Небо голубело. Теплее становился ночной горный воздух. Все крутом как бы ждало приветов солнца — первого золотистого луча.

С трепетом устремил отшельник свои взоры туда, откуда изо дня в день уже столько лет его благословляло небо, посылая первую улыбку солнца. И вот, как прежде, первый яркий луч упал, осветив его истомленное чело.

С глубоким вздохом, подняв к нему руки, пал юноша бездыханным.

Проснулась пастушка. В страхе вскочила она и бросилась к вершине горы — ей снился вещий сон, — все, что пережил отшельник.

И с той поры из рода в род передавалось сказание о жизни отшельника, тело которого погребли в келье.

Вспомнили об этом сказании аджарцы только в настигшей их грозе, и поражение свое они объясняют тем, что в мирной жизни забыли об отшельнике, и он в справедливом гневе своем изгнал их.

В. Полешук

ВОЙНА

(Белорусская легенда)

Закат догорал. Его багровые лучи кровавыми пятнами отражались в жемчужном уборе молодых березок, росших по краям дороги.

Афанас, напевая вполголоса, весело возвращался в свой хутор с мельницы.

Его гнедая кобыла, нагруженная мешками с мукою, медленно тащилась домой, прислушиваясь к хорошо знакомому голосу своего господина и мечтая об обычной мерке овса. Подобная роскошь всегда полагалась ей в таких случаях.

Хлеб был умолот. Это радовало бедного мужика и он, замечтавшись о хорошем урожае, затянул унылую протяжную песенку. И радость, и горе белорус всегда встречает подобными песнями. Этот грустный напев тяготеет над ним. Внезапно лошадь остановилась.

— Но... но! чего стала?! — с досадой окрикнул ее Афанас и хлестнул кнутом.

Лошадь неохотно тронулась. Пройдя несколько шагов, она снова остановилась.

— Но, подлая, сухоребра!.. но!.. — рассердился мужик и принялся хлестать кобылу.

Сзади послышался тихий и ехидный смешок, который, как острый бурав, вонзился в слух мужика.

Афанас обернулся и вздрогнул от неожиданности.

На мешках с мукой сидела старая-престарая, безобразная, костлявая старуха и зло хихикала.

— Тебе чего, карга, надоть?! — утрюмо спросил ее Афанас, а в душе подумал про себя: «Ведьма! Как есть ведьма!» — и мурашки поползли по телу.

— Слезай с воза скорей, а не то!... — поборов робость, крикнул мужик и замахнулся кнутом.

— Старенькая я... дюже старенькая... грех тебе, молодому и здоровому, обижать меня... Совсем заслабла... — жалобно и пискливо произнесла старуха.

Сердце мужика смягчилось, гнев растаял и он, махнув рукой, хлестнул лошадь и зашагал дальше.

— Хи... и... хии! — снова ехидно занялась старуха.

Холодная жуть опять охватила сердце Афанаса.

«Ишь, ведьма, заливается!...» — робко подумал он и бояз-

ливо оглянулся.

Но на мешках сидело жалкое, беспомощное, трясущееся существо, и мужику стало стыдно за свой страх.

«Попритчилось...» — подумал он и бодро зашагал дальше.

Едва он прошел несколько шагов, как за его спиной раздался тот же жуткий смешок, и непонятный, приподнимающий волосы на голове страх овладел всем существом его.

— Ва... а... ва... ча... го... о ты сме... е... ешь... ся? — дрожа всем телом, спросил Афанас.

Старуха молчала, но продолжала по-прежнему хихикать.

Страх в душе мужика все нарастал и нарастал, он, как злое облако смерча, грозящее разразиться страшной бурей, скапливался в тайниках сердца, чтобы с молниеносной быстротой сразить Афанаса.

— Кто ты? — нечеловеческим голосом крикнул мужик.

— Хи... и... хи!.. страшно тебе, молодец, старушки... хи... и... хи... страшно!.. — шептала она, заглядывая в глаза мужика своими мутными, стеклянными глазами.

Афанас дрожал всем телом, волосы шевелились у него под шапкой, и он осенял себя крестным знаменiem.

Лицо старухи передернулось судорогой и стало еще страшнее.

Мужик в ужасе отвернулся и, нахлестывая лошадь, косящим языком шептал молитву, а старуха продолжала ехидно и злое смеяться.

Лошадь стала. Ни побои, ни сердитые окрики мужика не могли сдвинуть ее с места.

Афанас обернулся и с ужасом посмотрел на старуху. Она перевоплотилась и стала еще безобразнее, чем прежде. Вместо глаз зияли две темных дыры. Ее скелетообразные руки были изъедены червями, а платье обрызгано запекшейся кровью. Убийственный, зловонный запах разлагавшихся трупов исходил от нее.

И вдруг старуха легко спрыгнула с телеги и промолвила:

— Прощай, мужик... Спасибо, что подвез... уморил ты из-

из-за меня свою лошадку, но зато теперь я могу идти дальше. Отдохнула маленько.

У Афанаса как-то сразу пропал весь страх.

— Куда же ты идешь, бабуса? — спокойно спросил он, сам изумляясь своей смелости.

— Путь мой далек и горек, мужичок, — проговорила старуха. — Там, где пройду я, земля окрасится кровью и обольется слезами людскими. Прогневали они Бога, и послал он меня, чтобы покарать людей. Посмотри на мои руки. Они покрыты ранами, а черви источили все тело мое. Неохота мне бродить по свету и насылая на людей мор, несчастье и смерть, но они забыли Бога...

— Кто же ты, старушка? — изумился Афанас.

— По-Божьему я зовусь «Карой небесной», а по-человечески «Войной». По повелению Божьему, исколесила я всю землю. Восстанут скоро друг против друга многие народы. Кровью и слезами напоят они землю...

Мужик глубоко вздохнул и, устремив увлажненный взор в высь, стал жарко молиться.

Когда же он опустил на землю просветленный молитвою взор, желая спросить старуху, скоро ли гнев Божий постигнет мир, ее уже не было.

Старуха словно растаяла в воздухе.

Багровое зарево, пылающее над землею, кровавые облака, медленно плывшие по небу, и грустью объятая природа, как барометр чувствующая и воспринимавшая в себя малейшую ласку и гнев Творца вселенной, говорили о том, чего не договорила старуха...

СОВРЕМЕННАЯ КАЗАЧЬЯ ЛЕГЕНДА

СОВРЕМЕННАЯ КАЗАЧЬЯ ЛЕГЕНДА.

В с. Тиховском, Мигулинской станицы, области Войска Донского, и соседних с ним, среди жителей за год до войны появилась следующая легенда об урожае:

«Один казак хутора Скильнова поехал в соседний хутор Мешков.

Проехав некоторое расстояние от дома, он увидел среди дороги какую-то женщину во всем белом.

Подъехав на довольно близкое расстояние, казак хотел свернуть в сторону, но лошадь не пошла.

Белая женщина встала, попросила казака слезть с телеги и подойти к ней.

Казак исполнил ее желание.

Затем она велела ему смотреть через ее правое плечо.

— Ну, что ты видел? — спросила женщина.

Он рассказал, что видел обширные поля с обильным зрелым хлебом всех сортов.

Тогда она велела смотреть ему через левое плечо, и он увидел много гробов и человеческих трупов.

После этого женщина объяснила ему все виденное так:

— Как ты видел через правое плечо, так оно и будет. В этом году урожай будет неслыханный, но убирать его будет некому, потому что настанет страшная война, как видел через мое левое плечо.

Потом видение исчезло».

НАРОДНАЯ ЛЕГЕНДА О СУВОРОВЕ

Во дремучем лесу, среди болот, лежит огромная каменная глыба с пещерой внутри; ход в нее из-под болота.

Дурная слава про это место: там блуждают синие огоньки, носятся бледные тени, слышатся тоскливые, жалобные стоны, филин не пролетает над седым мшистым камнем, волк на нем не воет, крестьянин, невзначай сюда попавший, обходит дикое место, кладя на себя крестное знамение.

Всегда здесь тихо и мертво; только ворон каркает по временам над каменной глыбой, да вьется хищный орел, успокаивая клекотом своим старца, почивающего неземным сном в пещере, внутри камня.

Через малое отверстие брезжит оттуда слабый свет неугасаемой лампы, да доносится глухое замогильное поминование князю, рабу Божию Александру.

В глубине скалы спит сам дедушка, склонив седую голову на уступ камня; давно он спит и долго спать будет.

Только тогда, когда покроется русская земля кровью боевому коню по щиколотку, проснется великий русский воин, выйдет из своей усыпальницы и избавит отечество от лютой невзгоды.

Видѣніе Вильгельма.



Рисунок для «Огонька» худ. С. ПЛОШИНСКАГО.

В главной квартирѣ Вильгельма произошло нечаянно слѣдующій случай. Среди глубокой ночи въ покояхъ императора раздались оглушительный крикъ. Приблизившись Вильгельм засталъ его въ состоянии, близкомъ къ обмороку, и на разспросы окружающихъ, блѣдный, извѣданный императоръ могъ только отвѣтить:

— Я видѣлъ бранденбургскую Альзу.

Случай этотъ произошелъ на Вильгельма поразившее впечатлѣніе. Появленіе призрака Альмы изъ Бранденбурга зли, какъ ее называютъ, «Вѣлой дамы» всегда предвѣщаетъ

неминуемую бѣду. Исторія она известна съ начала XVI вѣка. Азма, сестра одного изъ курфюрстовъ Бранденбурга, влюбилась въ своего брата и отъ этой связи родился ребенокъ, но съ тѣхъ поръ преступная Азма не находила себѣ покою и вскорѣ она окончилась въ черви, во время пасхальнаго богослуженія. Съ тѣхъ поръ тѣмъ са, въ бѣломъ пасхальномъ нарядѣ, блуждаютъ по свѣту и всегда предвѣщаютъ несчастье, чаще смерть. Являлась она и Гогенцоллернамъ. Такъ, Фридрихъ Великій видѣлъ ее на дѣхъ недѣли до кончины, а Фридриху Вильгельму

она явилась наканунѣ германской революціи 1848 г.

Много таинственныхъ легендъ создано въокругъ имени «Вѣлой дамы», много страшныхъ сказокъ слышали о ней и въ мрачныхъ замкахъ феодаловъ, и въ раззолоченныхъ дворцахъ, и въ скромныхъ хижинахъ цѣлупней долины Рейна, но, вѣроятно, самую страшную изъ сказокъ рассказалъ императору Германія сама «Вѣлая дама» въ темную августовскую ночь, если содрогнулся даже тотъ, кто зажегъ мировую пожаръ войны 1914 г.

БЕЛАЯ ДАМА

Рассказ прусского офицера

БЕЛАЯ ДАМА.	Р а з с к а з ь ПРУССКАГО ОФИЦЕРА.
--------------------	---------------------------------------

Вот что рассказывает один из пленных немецких гвардейцев, которому приходилось нести караул во дворце Вильгельма в Берлине:

— Мы все, кому выпадал жребий стоять во дворце, старались всякими путями отделаться от этого почетного назначения.

Еще с мая месяца ровно в 12 часов стала появляться Белая Дама.

Первым ее увидел поручик Куртлов, который лично сообщил об этом императору.

Говорят, Вильгельм ужасно рассердился и запретил рассказывать об этом, но между гвардией все распространилось очень быстро.

— А что это за Белая Дама, какова ее история?

— Говорят, что очень много лет тому назад, когда Гогенцоллерны были еще маленькими князьками, один из них устроил в замке пир.

Среди присутствующих был какой-то знаменитый польский магнат со своей красавицей-женой, которую он взял из Московии.

Когда пир подходил к концу и головы всех были достаточно отуманены, хозяин приказал своим слугам запереть магната в башню, а жену его увел в спальню и взял ее силой.

Молодая панна не пережила этого и закололась.

Говорят, что в первый же вечер после ее смерти, тень ее явилась к насильнику, и наутро его нашли мертвым.

На другой день в старинной библиотеке обнаружили рукопись, которой, по уверению хранителя, никогда там не было.

В этой рукописи старинными письменами было написано, что род Гогенцоллернов будет славен короткое время, а потом погибнет, и гибель ему придет со стороны Московии.

И перед тем, как умереть кому-нибудь из этого рода, Белая Дама пройдет по комнатам дворца.

— Легенда эта, — добавил гвардеец, — известна каждому солдату нашей армии и все относится к ней с суеверным страхом.

Я не хочу быть суеверным, но вот что я видел однажды.

Это было, как сейчас помню, 15-го июня 1914.

Тогда еще у нас никто не говорил громко о войне.

В наши казармы, часа в 4 вечера пришел ротмистр фон Клуг (сын командующего армией, оперирующей во Франции) и заявил, что унтер-офицеры 5-го эскадрона несут сегодня ночной караул в покоях великого курфюрста.

Не знаю почему, но у меня было в этот вечер как-то особенно тяжело на душе и не хотелось идти, но приказание было отдано.

В 8 часов вечера нас разместили и мое место было у колоннады, идущей из тронного зала курфюрста в покои нынешнего императора.

В 9 часов прошел полковник охраны, проверил посты и ушел.

Стояли мы друг от друга на довольно близком расстоянии, но оттого, что в покоях курфюрста освещение слабое и до сих пор состоит только из свечей, в зале царил жуткий полумрак.

Направо, несколько наискось от меня, висело старинное, массивное зеркало, слева уходили вглубь коридора портреты представителей императорской фамилии.

В 10 часов еще было слышно, как сменяли караул в соседних залах, звенели шпоры, двери стучали, а к 11 часам все смолкло. Тишина наступила мертвая.

Нам по уставу нельзя передвигаться и разговаривать, да и свечи кое-где потухли, сгустившийся сумрак не позволял видеть даже товарищей...

И вот, время было уже недалеко от 12...

Тишина такая, что слышен каждый шорох.

И в это время как-то особенно отчетливо раздался скрип дверей.

Я оглянулся, все двери открывались сами по себе — медленно и как-то торжественно.

Инстинктивно я схватился за саблю... и замер...

В зеркале показался туманный облик Белой Дамы...

Я окаменел.

Белое пятно приближалось, и она прошла мимо, в двух шагах от меня, с грозным лицом и угрожающе поднятой вверх рукою.

Опомнившись, я зазвонил тревогу. Ко мне кинулись остальные часовые, на которых не было лица.

Все они видели то же, что и я.

Когда внесли свечи, двери оказались открытыми, хотя раньше они были заперты на замки.

А-с

**ЧЕРНАЯ КОШКА
ГАБСБУРГОВ**

Черная кошка Габсбурговъ.

Легенда австрийского императорскаго дома.
(Изъ тайныхъ документовъ вѣнскаго придворнаго архива).

Старика- императора Франц-Иосифа давно уже преследует злой рок. Вообще говоря, это самый несчастный среди европейских монархов. В течение своего долголетнего царствования (с 1849 г.), этот император пережил такую массу государственных и семейных поражений, каких хватило бы на три царствования.

Еще не успел Франц-Иосиф воцариться, как восстали венгры. И если бы не великодушие в Бозе почившего императора Николая I, Франц-Иосиф никогда бы не видел австро-венгерского престола.

Замечательно, что габсбургский дом преследует какой-то фатум. Попутно, наряду с Золотым Руном, везде в мартирологе этого рода упоминается о какой-то мистической черной кошке, которая, хотя и не значится в гербе Габсбургов, тем не менее играет серьезную роль в превратностях этого дома.

Оставляя в стороне давно забытую эпоху великого владычества Габсбургов в прошлых веках, интересно, вместе с черной кошкой, проследить несчастья Франц-Иосифа.

За три дня до свадьбы Франц-Иосиф, прогуливаясь в Шенбруне с невестой наследника престола Стефанией Бельгийской, вдруг увидел, что среди громадной клумбы из белых лилий прыгает черная кошка.

Суеверный Франц-Иосиф стал хлыстом изгонять кошку из клумбы, но падали лилии, а кошку он все-таки не прогнал.

Был позван садовник для расправы с кошкой, но и тот тщетно ее ловил. Она бегала по громадной клумбе, исчезая то в одном, то в другом конце среди цветов.

Наконец, ее изловил садовник и уже понес во двор. Но кошка, оцарапав садовнику руки, в один момент вскочила на плечо смертельно напуганной принцессы Стефании.

Об этом инциденте, в связи со значением черной кошки в Габсбургском доме, говорил тогда весь двор.

Наступил день свадьбы. Все усилия придворных были устремлены на точное выполнение церемониала.

Когда же принцесса Стефания в качестве эрцгерцогини возвращалась из-под венца и намеревалась сесть в золоченую свадебную карету, черная кошка, откуда ни возьмись, пересекла дорогу новобрачной.

С тех пор этому браку все заранее предрекали несчастье. Два года только прожил Рудольф совместно с молодой женой. Стефания была миловидной блондинкой с красивыми глазами, цвета морской воды.

Что впоследствии произошло между супругами — неизвестно, но факт, что через два года эрцгерцог Рудольф, оставив свою супругу во Франц-Саласте, сам переехал к отцу и занял те же комнаты, которые занимал с малых лет.

Два месяца спустя, после тщетных попыток примирения, Стефания покинула Австрию и вернулась к отцу в Брюссель.

Тогда же стало известным, что баронесса Мария Вечера является подругой наследника.

Франц-Иосиф очень негодовал и всячески препятствовал интригам, пущенным в ход для создания ссоры между отцом и сыном. Однажды баронесса Вечера с ее дочерью, красавицей Марией, были высланы из столицы. Но, когда вслед за ними исчез из Вены эрцгерцог Рудольф, Франц-Иосиф оказался вынужденным разрешить семейству Вечера пребывание в столице.

В дневнике Рудольфа, изданном полгода тому назад в Нью-Йорке и строго воспрещенном в Австрии, а, вероятно, и в Германии, имеются следующие строки:

«Я не знаю, почему-то мне все снится черная кошка. Верно, я скоро умру. Сказал бы об этом отцу, но он очень суеверен и будет тревожиться».

Ровно через неделю после написания этих строк, эрцгерцог Рудольф был найден мертвым, вместе с Вечерой, в

охотничьем домике.

Набожная императрица Елизавета, большая ревнительница идеи католицизма, за месяц до катастрофы молилась в дворцовом храме.

Она всегда отправлялась туда рано утром, без сопровождения придворных дам. Смерть любимого сына окончательно удалила ее от мира. Ни один бал, ни одно представление-гала императрица не удостоила своим посещением.

В храме царил полумрак. Неугасаемая лампада и большое количество свечей освещали лик мученика Рудольфа.

Лик этой иконы был императрицей специально заказан венгерскому художнику Ратчени.

Императрица, надломленная горем, только в молитве находила свое утешение.

Когда, помолившись, императрица Елизавета встала и уже хотела выйти из храма, она невольно обратила внимание на черную кошку, которая все время на нее смотрела с подоконника громадного окна, около самого киота с ликом св. Рудольфа. В ужасе выбежав из храма, императрица рассказала об этом Францу-Иосифу.

Недели две спустя, когда, сопровождая на вокзал уезжающую в Италию жену, император, как бы предчувствуя надвигающееся несчастье, уговаривал ее остаться.

Но императрица была непоколебима и... погибла от ножа убийцы.

В газете «Жиль Блас» находим заметку, в которой рассказывается, как император Франц-Иосиф, за три дня до смерти Франц-Фердинанда, также видел черную кошку на дворе своего Шенбрунского дворца.

Та же газета утверждает, что в день объявления Вильгельмом II войны, Франц-Иосиф призывал к себе жену эрцгерцога Фридриха — Клотильду и рассказывал ей о черной кошке, которую во сне видел накануне.

Теперь, когда престарелый монарх, надломленный невзгодами, ожидает полного разгрома своей империи, он, наверно, вспоминает черную кошку и она ему, вероятно, является с высоко закрученными усами.

Эжен

МОЛНИЯ

Сенсационный рассказ

I

Когда немцы вступали в Антверпен, двое бельгийских рабочих перекрывали крышу на одном из домов.

Это были отец и сын — Пьер и Матюрен Николе.

Во главе немецкого отряда ехали два блестящих офицера.

Увидя кровельщиков, один из кавалеристов, граф Ленц, предложил другому, барону Зальцбургу, пари:

— Держу сто марок против пяти, что выстрелом из моего маузера сниму с крыши старика.

Пари было принято.

Раздался выстрел.

Пьер Николе с раздробленной головой полетел на мостовую.

II

Прошло три месяца после описанного зверства.

В октябре 1914 года, вечером, небольшой пароход по-двигался вверх по Луаре.

Небо заволакивалось тучами, идущими с юга. Изредка блистали молнии. Слышались раскаты грома.

Эти предвестники приближающейся бури сильно беспокоили капитана парохода.

На палубе было немного пассажиров, между прочими человек с бледным благородным лицом.

В каюте, по словам капитана, находился больной и стар-рый господин.

Вещи его были сложены на передней части парохода, тут же рядом стоял его великолепный экипаж.

Молодой человек вошел на пароход перед самым его отплытием и не видел больного, так как тот уже раньше сошел в каюту-

Он и не спрашивал имени богача.

С наступлением ночи, буря разразилась с необыкновенной силой.

Пароход стало страшно качать.

Вдруг раздался возглас капитана:

— Святая Мадонна, мы погибли! Пароход не слушает уже руля. Нас ударит о скалу! Боже, сжался над нами!

— Мы погибли, мы погибли! — раздалось со всех сторон. Вскоре затем послышался треск. Пароход ударился о скалу и стал наполняться водою.

При свете немногих фонарей и блеске молнии, пассажиры в ужасе старались избежать смерти.

Скала, о которую разбился пароход, выступала очень высоко над поверхностью воды и на ней нельзя было удержаться в такую бурю.

В отдалении виднелись маленькие острова, но добраться до них даже очень хорошим пловцам, при быстроте течения, было очень трудно.

Потерпевшим крушение нельзя было долго раздумывать; пароход все больше погружался в воду, а обломки разносились волнами.

Всякий старался обхватить бревно или доску, чтобы продержаться на воде.

Молодой человек также схватился за небольшую доску.

С трудом боролся он с волнами.

Многие вокруг, выбившись из сил, тонули.

Вдруг он услышал подле себя горячие мольбы о помощи.

Молодой человек, придерживая одной рукой доску, другой схватил кого-то за волосы и, напрягая все силы, вскоре почувствовал землю под ногами.

Он доплыл до небольшого острова, куда и вытащил спасенного, который, спустя некоторое время, пришел в себя.

Кругом была непроглядная тьма. По временам только молния освещала ужасную ночную сцену.

При блеске молнии молодому человеку удалось рассмотреть спасенного им от смерти.

Это был уже пожилой человек.

Он дрожал от холода и ужаса; с богатой одежды его стекала вода и грязь.

Молодому человеку казалось, что ему знакомо это лицо, но не мог припомнить, где и когда его видел.

Оба очутились на маленьком острове.

— Мы теперь в безопасности, — сказал юноша.

— Ты спас мне жизнь, — ответил тот. — Я тебя вознагражу по царски. Я богат и знатен. Я не хочу умирать; о, я не хочу умирать.

— Но кто же вы?

— Я граф Ленц, инкогнито прибывший в эту проклятую Францию!

— Граф Ленц! О чудовище! О насмешка судьбы! Я тебя спас, вместо того, чтобы отправить в преисподнюю! — воскликнул юноша.

— Что? И это говоришь ты — мой спаситель?

— Я — Матюрен Николе, сын бельгийского кровельщика, которого ты застрелил на крыше в Антверпене.

— О, горе мне!

— Мать моя умерла от отчаяния! Итак, убийца моего отца и матери, готовься к смерти. Ты умрешь от моей руки!

В это время молния осветила лезвие ножа, который Матюрен выхватил из-за пояса.

Граф Ленц упал перед ним на колени с криком:

— Сжался! Сжался! Возьми все, что хочешь, но подари мне жизнь! Я награбил в Бельгии огромное состояние! Я путешествую теперь по Франции и занимаюсь военным шпионажем, за что получаю десятки тысяч марок. Все это будет твоим — только сжался!

— Нет у меня к тебе жалости!

С этими словами Матюрен замахнулся ножом, но не попал в Ленца — было слишком темно.

— Где ты, изверг? Убийца и шпион!

— О, сжался, сжался!

В это время раздался оглушительный удар грома, и молния ударила в одинокое дерево и расщепила его.

Тот же удар молнии попал в графа Ленца. Матюрен чудом избег смерти.

Он остался невредим — его только оглушило.

— Божий суд, — прошептал юноша, придя в себя. — Бог не хотел, чтобы рука честного бельгийца обагрилась кровью!

Сообщ. Эжен.

П. Б.

ПРИВИДЕНИЕ

Роту расквартировали в деревне, а я решил переночевать в замке.

Замок был давно необитаем, и про него ходили дурные слухи. Хозяин замка был казнен еще в прошлом столетии за какое-то политическое преступление, а его молодая жена, наследница разоренных имений, вела очень замкнутый образ жизни и умерла в одной из башен, покинутая даже прислугой. Замок опустел. Крестьяне расхитили «остатки прежней роскоши», разобрали даже изразцовые печи. И теперь во многих крестьянских халупах были изразцы.

Однако в башне, где умерла графиня, оставался еще не тронутым ее портрет.

Говорили что-то про лунные ночи, когда тень графини якобы выходит на балкон, любитесь голубой плесенью на пруде и до рассвета слушает соловьев.

Я не мог отказаться от желания проверить эту легенду личным опытом и к одиннадцати часам ночи очутился в башне.

Башня значительно сохранилась. Стены были необычайно толсты и, вероятно, заключали в себе тайники. Дверь на балкон была разбита, но еще держалась на одном шарнире и оттого грохотала при каждом порыве ветра.

Осветившись, я заметил и портрет графини. Это была типичная немочка — голубоглазая и пышная, но со странно противоречивой складкой между бровей. Алые губы, казалось, улыбались, а под бровями зрела смутная угроза...

Очень живо были нарисованы ландыши на груди красавицы. И на мгновение я как бы уловил их аромат.

Время подходило к двенадцати. Я положил около себя револьвер, погасил ночник и завернулся в походное одеяло.

Ночь была лунная. Из сада доносились какие-то ропоты. Дверь скрипела и по стенам бились летучие мыши. Я задремал.

Не знаю, сколько прошло времени, час или более, но, несомненно, была самая глухая ночная пора, когда я внезапно проснулся.

В башне было изумительно светло. Луна стояла над самым балконом: полная, волоокая. А на той световой черте,

которой пересекался пол башни от двери балкона и до моей постели, стояла теперь знакомая мне по портрету фигура владелицы замка...

Я не верил в привидения. Но когда я заметил, что на стене чернеет только одна пустая рама, я почувствовал себя несколько смущенным. А затем в душу мою заползла и тревога.

— Что вам угодно? — спросил я. Голос мой едва прозвучал в тишине.

Женщина придвинулась, как бы поплыла ко мне и гуды ее затрепетали...

— Я принесла вам цветы, — сказала она. — О, это прекрасные ландыши! Мне прислал их мой муж с эшафота... Я тотчас же призвала художника, и он увековечил меня вместе с этими цветами. Но вы — мой любимый! Я давно вас ждала и сохранила эти цветы для вас. Вот, посмотрите....

Она отколола цветы от корсажа и продолжала продвигаться ко мне все тем же беззвучным шагом.

— Я знала, что вы придете... — говорила она. — Нам известно, что Габсбурги окончат неблагоприятно. Империя распадается. Но я решила принести свои цветы первому из победителей, который переступит порог этой башни. Эти цветы приносят счастье. Скажите, где ваши батареи, и я насыщу их ароматом этих цветов... только — частность, и я перекину их обаяние туда...

Но в это время, как она говорила эти слова, я заметил, что револьвер мой уполз под складки ее газа...

Это обстоятельство и озадачило меня и вместе с тем отрезвило: у меня явились подозрения.

— Но я вас люблю... — нежно продолжала она, — люблю, люблю...

Я резко отодвинулся, красавица вздрогнула и в глазах ее мелькнул испуг...

— Руки вверх! — крикнул я.

В эту же секунду дуло револьвера коснулось моей щеки. Но я уж рассчитал движение, увернулся, и пуля не коснулась даже моих волос.

Гулко загремело эхо выстрела, и оно было услышано внизу.

Тем временем я выбил из руки «привидения» револьвер и вцепился в ее шевелюру... Увы, это роскошное руно оказалось только париком! А в моих руках крутился очень юркий и проворный юноша...

— Ахх, ты... — раздалось около моего уха, — и мой бравый денщик окончательно растянул молодца.

Я поднялся. Неизвестного связали. И через несколько минут он обратился в юного немецкого лейтенанта.

— Фон Шпехт, — отрекомендовался он на допросе.

Он был очень юн, грациозен и мал ростом. На лице его еще лежал грим...

— Кто это вас научил такой симуляции? — спросил я.

Лейтенант высокомерно взглянул на меня и ответил:

— Отечество!

Однако, разговаривать было некогда, да и не о чем: фон Шпехт оказался шпионом.

После соблюдения обычных формальностей, с ним было поступлено так, как этого требуют законы войны.

Портрет графини я взял себе и теперь он мне напоминает, чем окончилась моя первая встреча с «привидением»...

Николай Руденко

ЖЕЛТАЯ КРАСАВИЦА

Иллюстрации автора



Вы говорите, что война ужасна. Ужасна морем крови, ужасна извергаемыми из ее грозной пасти грудами человеческих обломков?

— Вы совершенно правы.

— Но все-таки война — замечательная вещь. Побывав в ее железных когтях, многое начинаешь ценить значительно выше, чем делал это до тех пор, на многое начинаешь смотреть спокойнее и проще.

Возьмите хотя бы современную культуру. Ложась ежедневно на мягкую постель, обедая в хорошем ресторане, вы знаете только десятую часть цены этих прелестей. Даже меньше того. Вы так привыкли к комфорту и удобствам, что совершенно не умеете их ценить. Совсем другое дело, когда волны культуры охватят человека после скитания по боевым полям, после длинного периода жизни в самых первобытных условиях. Уверяю вас, что даже лампа — простая кухонная лампа, сменившая, наконец, свечу, — покажется тогда перлом совершенства.

Возьмите, с другой стороны, смерть с ее мрачными аксессуарами. Ведь мысль о ней пугает мирного обывателя, а зрелище траурной процессии способно надолго испортить ему настроение. Но вы даже представить себе не можете, как просто, как спокойно начинаешь смотреть в глаза смерти, когда встречаешься с ней по несколько раз в день. Около вас падают, корчатся и умирают; вас даже забрызжет вылетевшим мозгом или хлынувшей кровью, но вы не обращаете на это ровно никакого внимания.

Кончается бой. Павших собирают, стаскивают в общую могилу. Перед вами сотни неподвижных голов, рук и ног, быстро исчезающих под падающими комьями, но вам так же жутко, как при виде щей, закипающих в походной кухне...

Многие ли из вас отважатся пройтись глухой ночью за город, перелезть через ограду кладбища и погулять среди пристанища бранных останков человека?

— Не думаю!

— Недаром повседневщина видит подвиг в поступке какого-нибудь взбалмошного юнца, рискнувшего прибить ночью записку к условленному кресту. Как вам понравится, что то же кладбище, мимо которого вы стараетесь пройти возможно быстрее, силясь направить мысли в другую сторону, война может сделать приятным и желанным? А, между тем, война очень способна на такие шутки...

Вы, конечно, знаете Манчжурию по рисункам, по описаниям и понаслышке. Это почти сплошная нива, усеянная острыми стеблями сжатого гаоляна и почти лишенная деревьев. Трудно представить себе, как стремились в этой стране войска расположиться на незапаханных и усаженных деревьями кладбищах, где они находили тень и сухую гладкую почву.

Вы думаете, что близость страшных мертвецов, лежащих на небольшой глубине с загадочно темнеющими глазами впадинами и оскаленными зубами, вселяла в кого-нибудь беспокойство и трепет?

— Ничуть не бывало.

— В самые глухие ночи из расставленных по могилам палаток несся один только крепкий, раскатистый храп...

И это далеко не все. Какое впечатление произведет на вас гроб с уложенным в него мертвецом, найденный среди поля? Вы в состоянии ли будете равнодушно вывернуть содержимое, а из досок наколоть щепок для костра, на котором будет кипятиться ваш чай, сделать из них стол и скамью в вашем жилище, сколотить из них дверь?

— Сомневаюсь...

— Но война толкнет и на подобные поступки. В силу какого-то обычая китайцы оставляют часть своих мертвецов непогребенными, укладывая их в огромные, стоящие среди поля деревянные гробы, обложенные сырым кирпичом и соломой. Вам странно и жутко, но в периоды недостатка в дереве войска набрасывались на эти сооружения, пропитанные испарениями тления и хладнокровно употребляли их для своих надобностей...

Да, замечательная вещь — война. Однако, и она, несмотря на способность притупить человеческую впечатлительность до высших пределов, все-таки вполне не застраховывает от таинственного и непонятного...

* * *

В один из ясных зимних дней меня потянуло погулять по окрестностям. Война уже кончилась, и расположенные по деревням войска ждали отъезда на родину.

Странное впечатление производил на русского человека зимний манчжурский пейзаж. Мороз, от которого коричневато-серая земля дала широкие трещины, резкий ветер, и вместе с тем почти полное отсутствие снега. Лишь еле еле насыпан он между бороздами полей, едва заметен на неровностях крыш. Январь на исходе, а по твердым как камень дорогам катятся с шумом повозки, взметая, как в середине лета, клубы легкой пыли.

Оставив в стороне дорогу, я пошел по пахоти к вершине отдаленного холма. На нем копошилась какая-то группа. Подойдя ближе, я увидел слишком обычное зрелище. Нескольких бородатых запасных солдат уже разобрали кирпич и солому, скрывавшие огромный китайский гроб, и начали сдвигать тяжелую крышку.

От нечего делать останавливаюсь, закурываю папиросу и равнодушно жду результата работы, чтобы взглянуть на содержимое размалеванного кедрового саркофага.

Вот крышка снята. Нагнувшись вперед, я невольно роняю папиросу от неожиданности. В гробу — разодетая в пеструю шелковую ткань, окруженная исписанными бумажными свертками, лежала, как живая, молодая китайка.



Китайские женщины вообще очень непривлекательны. Но на этот раз передо мной лежала красавица, поразительная красавица, даже с точки зрения европейца.

Всматриваясь в замечательно гармоничные черты лица усопшей, обрамленного фантастической прической, я вдруг и с каким-то жутким чувством уловил в нем не одну только человеческую привлекательность. В изгибах губ змеилась странная, совсем дьявольская улыбка. Мгновениями даже казалось, что губы живы, что они как бы извиваются, а одновременно с ними вздрагивают и темные нити непомерно длинных ресниц.

Однако, я быстро оправился. Трудно было сразу озадачить офицера, привыкшего смотреть с полнейшим хладнокровием на сотни, тысячи мертвецов.

«Должно быть, мнимо-умершая», — мелькнуло у меня в голове, и я решительно притронулся к слегка нарумяненной щеке трупа, к рукам, к груди.

Нет... Тело оказалось холодным, заочевевшим, видимо, промерзшим насквозь. Смерть несомненна... Но откуда берется ее дьявольская, живая улыбка, это непонятное вздрагивание век?.. Да, я не ошибаюсь! Губы, действительно, шевелятся, ресницы, действительно, вздрагивают!..

Чтобы несколько подобрать нервы, я достал новую папиросу и искоса взглянул на лица солдат. Мне не хотелось, чтобы они угадали мое замешательство. Но что это?.. Все бледны, все глаза расширены в безграничном ужасе. Значит, не мне одному страшно, не я один нахожусь под впечатлением чего-то непонятного и жуткого.

«Никак, братцы, ведьма», — вдруг хрипло вырвалось из какой-то бороды.

«Ведьма, ведьма», — дико закричали остальные, и в ту же секунду раздался топот десятка ног, бегущих во весь дух по промерзлой пахоти.

— Что за вздор, — еще раз попробовал я взять себя в руки. — Разве в наш реальный век может быть речь о ведьмах? Просто какое-то недоразумение. И, собрав всю свою волю, я нагнулся к самому лицу мертвой красавицы.

Вот тут-то и случилось нечто, заставившее меня проваляться полтора месяца в нервной горячке. Еще спасибо войне! Не притупи она заранее мою впечатлительность, мы, наверное, не имели бы удовольствия беседовать...

Вас интересует, что я увидал?

Знаете ли, я увидал медленно раскрывающиеся глаза, огромные, глубокие, как бездна, и отливающие каким-то зеленоватым пламенем.

Я увидел губы, переставшие дьявольски улыбаться, а потянувшиеся ко мне в страстном призыве поцелуя...

В то же время мой слух уловил фразу на китайском языке, которая каким-то чудом стала мне мгновенно понятна.

«Я пойду за тобой...»

Меня нашли в бессознательном состоянии, в нескольких верстах от места происшествия...

Когда я выписался из госпиталя, Манчжурия была одета в весенний наряд. Зеленели редкие деревья, зеленела нежная травка вдоль дорог и по берегам рек. Наш полк уже собрался уезжать и весело упаковывался.

Впечатление пережитого во мне улеглось, и я даже с некоторой иронией вспоминал желтую красавицу. Наверно, я имел в тот день неосторожность выпить за обедом лишнюю рюмку, а солдаты, как представители простого народа, сделались жертвами суеверия. Возможно ли, чтобы мертвая улыбалась и говорила?!..

Конечно, нет!..

Руководимый желанием убедиться на месте, как мало реального было во всем случившемся, я снова иду к знакомому холму. Ярко светит солнце, в голубом небе заливаются жаворонки. Природа начинает жить полным темпом, требуя полноты жизни и от всех своих составных частей.

Вот и гроб, унылый, тихий. Спокойно подхожу к нему и смело заглядываю в середину. Пусто. Только слегка шелестят от дыхания ветерка листья покрытых письменами рукописей.

Где же она, прекрасная и страшная красавица, так сильно покачнувшая мою нервную систему?.. Оглядываюсь кругом.

Неподалеку, в овраге, пестреют какие-то лохмотья. Подхожу и вижу несколько обглоданных костей среди обрывков вышитого шелка. Это бродячие собаки вытащили труп и уничтожили остатки красивого тела.

Вот и череп.

Как некогда Олег, наступаю на белеющую кость и уже открываю рот, чтобы процитировать звучные стихи Пушкина, как вдруг мой взгляд приковывается к длинной пряди черных волос.

Нагибаюсь и протягиваю руку, чтобы поднять этот последний остаток бывлой очаровательницы, и мгновенно вздрагиваю, как от громового удара.

Мертвая прядь, неподвижно лежащая в стебельках первой травы, подымается навстречу моим пальцам, прикасается к ним, обвивает их...

А мой слух, мой так скептически настроенный слух, ловит несущуюся откуда-то снизу, должно быть, из черепа, роковую фразу:

«Я пойду за тобой...»

На этот раз я не заболел, а с бешенством стряхнул с пальцев черные волосы и с проклятием вернулся домой.

Через неделю поезд нес меня в Россию. Разбирая чемодан, я нашел на самом дне, как бы притаившуюся среди белья, черную прядь.

Я выбросил ее в окно, но к вечеру опять нашел в кармане шинели.

Тогда я обвязал ее вокруг японского патрона и начал терпеливо ждать широкой матушки-Волги. Когда поезд медленно дополз до середины моста, я вышел на площадку вагона и, широко размахнувшись, швырнул патрон в реку. Он шлепнулся, вскинув серебряные брызги, и скрылся в глубине. У меня отлегло от сердца.

Вряд ли вы сумеете объяснить мне, как это произошло, но, купив на тульском вокзале газету, я нашел в ней все ту же длинную, черную прядь...

* * *

Вы как-то спрашивали меня, отчего я — молодой и красивый — систематически уклоняюсь от брачных уз. Тогда я не ответил вам, отделавшись какой-то шуткой, но сегодня буду более откровенен.

Всему причиной опять-таки она, таинственная желтая красавица.

Вы перестанете улыбаться, когда я расскажу вам про две свои попытки свить милое семейное гнездышко.

Мой первый роман завязался задолго до Манчжурии. Я знал ее еще институткой, почти ребенком. На моих глазах она переходила из класса в класс, и с каждым годом все теплее, все светлее становились наши отношения.

Нас разлучила война. Я оторвал ее, рыдающую, от своей

груди и бросился в вагон, низко надвинув папаху.

Все время мы переписывались, но я, конечно, скрыл от нежной души Нины причину своей нервной болезни. По возвращении из Манчжурии, мы немедленно начали готовиться к свадьбе.

Она веселилась, как стрекоза в солнечных лучах, я был бесконечно счастлив ее счастьем, ее любовью.

Всего за несколько дней до свадьбы, Нина забежала к матерью на мою холостую квартиру. Пили чай. Веселились, болтали, строили те милые, воздушные замки, которые кажутся такими возможными при свете любви и молодости.

Начало темнеть, и я приказал денщику зажечь на письменном столе лампу.

Как все женщины, а тем более любящие, Нина была очень любопытна.

«Открой твой письменный стол! Я хочу посмотреть, что там делается».

Какое-то страшное предчувствие ворвалось вдруг в мое сердце. Я невольно побледнел.

«Ты, видимо, имеешь от меня какие-то секреты», — сразу разнервничалась Нина. — «Отчего ты бледнеешь?»

Я молчал.

«Открой сейчас же все ящики... Я хочу все знать, все, все!...»

«Тебе нечего знать, мой котенок, я никого не любил, кроме тебя. Клянусь, чем хочешь!»

«А это что», — как-то слабо вскрикнула девушка, шарив между бумагами, и во весь рост упала на пол.

В руке Нины была зажата длинная прядь черных волос...

Как тяжело, как невыносимо тяжело было мне следить за развитием болезни горячо любимой невесты. Она таяла, как свеча. Ужаснее всего было то, что она не желала видеть меня, не желала выслушать моих оправданий.

Да и что путного мог я ей сказать? Разве бы она поверила всей этой странной, загадочной истории?..

Наконец, положение Нины сделалось безнадежным.

Ее милая старушка-мать нарушила запреты дочери и

позвала меня. Как сейчас вижу полутемную комнату с заставленной лампой, белую кровать и выступающие на ней контуры исхудавшего дорогого тела.

Нина была в забытье. Мы долго сидели со старухой, изредка перебрасываясь шепотом короткими фразами. Но вот измученная бессонницей старая женщина задремала.

Вдруг я почувствовал, что в комнате находится еще кто-то посторонний, что ко мне прикован чей-то тяжелый, притягивающий взгляд.

Я обернулся.

На стуле в углу, подобрав под себя ноги, сидела она — страшная желтая красавица. В полумраке я различал с поразительной ясностью ее губы, змеившиеся дьявольской улыбкой, я видел ее глаза, ярко вспыхивавшие зеленоватым огнем.

В то же время я услышал шевеление на кровати. Нина очнулась и в свою очередь впилась расширенными зрачками в таинственный силуэт.

«Это она... твоя! Зачем она сюда явилась?..»

— Прочь, проклятая, — зарычал я нечеловеческим голосом и, схватив стул, ринулся в угол.

Желтая красавица исчезла.... но вместе с ней улетела и нежная душа моей дорогой Нины...

Вас интересует вторая попытка? — Извольте.

Эта попытка кончилась не менее трагически.

Недавно. Всего около года назад. Не скажу, чтобы я опять любил. Меня, вернее, потянуло к семейной жизни, к домашнему очагу, к деткам. В мои годы подобное притяжение впервые начинает намечаться и действует довольно сильно. Она — она любила меня, и этого было достаточно.

Как и в первый раз, свадьбу не откладывали. Сборы и переговоры быстро кончились, день бракосочетания наступил.

Вот я на паперти церкви в ожидании невесты. Вот показывается и карета. Подъезжает. Останавливается.

Открывается дверца, и моя будущая жена в белоснежном наряде легко выпрыгивает на панель.



Но тут с невероятной быстротой происходит нечто ужасное. Как из-под земли, перед мордами лошадей вырастает опять она, проклятая желтая красавица!

Из людей, кроме меня, ее не видал никто, но ее прекрасно увидели лошади. С диким храпом они рванулись назад, взвились на дыбы и шарахнулись в сторону.

Карета мгновенно перевернулась. Когда ее подняли, под ней лежал бездыханный труп в белоснежном подвенечном наряде...

Я безумно зарыдал и начал вытирать глаза... неизвестно какими судьбами оказавшейся в кармане длинной прядью черных волос...

Как же после всего этого могу я снова думать о браке?.. Как я могу сомневаться, что и в третий раз поперек моего пути не станет загадочный желтый призрак?..

А вы сомневаетесь?

Нет, наконец, и вы, по-видимому, утратили способность сомневаться.

Борис Садовской

ДВОЙНИК

За несколько минут перед роковой атакой, решившей его судьбу, поручик Зайцев увидел совсем неожиданно странный сон, до того чудовищный и нелепый, что невозможно было даже сразу решить, бред ли это кошмарный или виденье иного мира. Истомленный безумным напряжением последних трех суток, поручик Зайцев, сидя, вдруг задремал в окопе — на три минуты, не больше — и в этот короткий срок увидел и услышал близ себя двойника своего, собственное свое второе я. Это был точно такой же поручик Зайцев, с такими же ясными голубыми глазами и высоким лбом, с такими же каштановыми усиками и в такой же походной форме. Даже ремень один на правой руке был так же оборван, как и у него. Точно кто зеркало подставил Зайцеву к самым глазам. И однако, это не было простым отражением, ибо второй, неизвестно откуда взявшийся, поручик Зайцев двигался, смотрел и говорил совершенно свободно и нисколько не зависел от воли первого Зайцева, сидевшего перед ним с полукоткрытым ртом, в непобедимом очаровании дремоты. Только нет: право же, не сон это был и не полусон, и даже не дремота: вернее всего будет сказать прямо, что дело происходило наяву. Но ведь наяву, как это всем хорошо известно, подобных происшествий не бывает никогда, а в наш век и подавно, и не мог же Зайцев действительно, не шутя, поверить в подлинное существование двойника.

Между тем, чудесный фантом, подсев близко к Зайцеву, заговорил голосом самого поручика, бархатным и мягким, по-дружески касаясь легко его плеча:

— Послушай, Зайцев, не бойся ничего, все это пустяки, еще не пришло твое время. Помни, что теперь только и начинается главное в твоей жизни...

Дальнейшие слова призрака смешались, как часто бывает это во сне; уловить течение их было невозможно, и Зайцев видел только нежно державшую его за погон собственную свою руку со знакомым материнским колечком с

бирюзой на четвертом пальце.

Но уже через несколько секунд вместо двойника вырос, как из земли, перед ним фельдфебель и взволнованно говорил:

— Ваше благородие, в атаку приказано.

Очнувшийся разом Зайцев мельком взглянул на свою руку, поцеловал колечко, перекрестился и с саблей наголо выскочил из окопов.

Командир еще с вечера отдал ему приказ: в случае тревоги, занять со своею ротой опушку леса, черневшего смутно из-за окопов.

Солдаты дружно бежали следом за поручиком с криками «ура».

Фельдфебелю сбило пулей фуражку, он нагнулся ее поднять и тут же упал, пораженный насмерть.

Пули дождем свистели вокруг.

— Ложись, — скомандовал Зайцев.

Рота легла. Прямо перед собою Зайцев видел лошадиный труп. Слышно было, как пули, шлепаясь, ударяли в падаль.

— Лежи, не лежи, а идти все-таки надо, — промелькнуло в мозгу у Зайцева и, крикнув: «Вперед, ребята» — он ринулся снова навстречу свистевшим пулям.

Скоро рота достигла желанной опушки леса, — без труда опрокинув охранявший ее немецкий разъезд. Зайцев вздохнул, наконец, свободно. Вспомнились ему недавние занятия на маневрах, когда вот так же приходилось, бывало, брать неприятельские позиции под воображаемым огнем.

Он облегченно прислонился к стволу старого дуба, обтер вспотевшее лицо платком и достал портсигар. Закуривая папиросу, он вспоминал странный сон. В это самое время немец-кавалерист в серой остроконечной каске выскочил из куста и в упор навел револьвер в грудь Зайцеву.

Едва успел ударить сухой треск выстрела, как немец, мгновенно поднятый солдатами на штыки, уже хрипел и давился кровью, выкатывая глаза. Как сквозь дымную паутину видел все это Зайцев, чувствуя в то же время, что но-

ги его подгибаются и дрожат, а сам он склоняется плавно набок.

— Ах ты, подлец этакий, предатель, Иуда. Что же теперь, братцы, куда нам девать поручика? — возбужденно толковали, сгустясь, солдаты.

Больше Зайцев не слышал и не чувствовал ничего. Красные волны тихо расплывались перед его глазами.

II

Теперь, лежа в госпитале, в незнакомом ему, чужом и далеком городе, Зайцев вспоминал и перебирал в уме, от нечего делать, всю свою молодую жизнь.

Рана в плечо оказалась тяжелой, но неопасной, хотя нестерпимо болела по временам. Впрочем, в эти последние дни раненому настолько полегчало, что он уже мог свободно прохаживаться по обширному залу.

Это и был, действительно, клубский зал, где еще так недавно, год назад, кружились в вальсе веселые молодые пары и гремел военный оркестр. Теперь рядами белели здесь узкие кровати с неясными очертаниями раненых воинов, пробегали суетливо фельдшера и служители, проходил доктор, а сестры милосердия в своих белоснежных одеждах скользили тихо и ласково между ними, как вестницы надежды, примирения и любви.

Зайцев в этот вечер укладывался уже на покой, когда в неясном вечернем полусумраке занавешенных ламп провеял будто весенний ветерок, и в зал вошла новая, только что прибывшая с партией раненых, сестра.

Увидав ее, Зайцев едва не вскрикнул от изумления.

Ну, конечно, он знал ее когда-то и хорошо знал, но никак не мог теперь вспомнить ни того, где он с ней встретился, ни того, как ее зовут.

Плавной походкой, неслышно, сестра прошла по залу и скрылась в белых дверях.

— Боже мой, да ведь я же хорошо ее знаю, — думал Зай-

цев.

Он оперся на здоровую руку и, полулежа, точно мучимый бессонницей, лихорадочно вспоминал. Глаза его сверкали и вдруг, будто опять пораженный предательской пулей, он откинулся беспомощно на подушку. Губы его шептали:

— Неужели?.. Не может быть... Как же это?

Он вспомнил.

III

Это было ровно три года тому назад. Только что выпущенный в офицеры, Зайцев был прикомандирован к одному из гвардейских полков и жил одиноко на семнадцатой линии Васильевского острова, в маленькой комнатке шестого этажа.

Он любил свою голубую комнату, узкую, точно девическую, кровать за ширмой, медный в углу рукомойник, неуклюжего денщика. Жизнь так привольно и весело открывалась перед ним, в голубоватых весенних тонах, как апрельское небо, и ярко манила к счастью.

Зайцев вообще любил голубой цвет и верил, что ему он приносит счастье. Хиромантка с Лиговки (у нее перед выпуском побывал молодой подпоручик) подтвердила тоже.

В один чудесный весенний вечер Зайцев, присев нечаянно к своему мольберту, собрался набросать вид из окна (он занимался живописью с детства и в корпусе известен был, как хороший рисовальщик), когда внезапно овладевшая им усталость помешала ему начать работу и он как-то незаметно для самого себя, мгновенно заснул.

Впоследствии Зайцев не раз вспоминал эти приступы вдруг набегавшей сонливости, подобные тому, что был им испытан в окопе перед появлением двойника.

Разбудила его старушка-тетка, обитавшая в конце Пушкинской; невзирая на дальний путь, она часто навещала племянника-сироту, приходившегося ей крестным сыном. Старушка вбежала, запыхавшись, будто встревоженная чем-то.

— то с вами, бабушка? — спрашивал ее Зайцев.

Он привык называть ее бабушкой с раннего детства. Впрочем, тетке было уже за шестьдесят и название бабушки более соответствовало морщинистому ее лицу.

— Одевайся скорей, бери холст и кисти. Едем.

— Да что такое? Зачем холст и кисти?

— Не твое дело, потом скажу. Не люблю это болтать.

— Кого же писать-то?

— Сказано, едем, без разговоров.

Зайцев привык к странностям старой тетки и, не возражая, быстро оделся. Уже на извозчике он спросил:

— Далеко ли вы, по крайней мере, меня везете?

— Ко мне на Пушкинскую. Не бойся, останешься доволен, — загадочно пробормотала старуха, тяжело дыша и так держась за рукав племянника, точно она боялась, не убежал бы Зайцев.

IV

Однако, на Пушкинской извозчик остановился не у того подъезда, где ход был в квартиру бабушки, а у другого, соседнего. Этот был куда казистее и богаче; у дверей восседал на табурете представительный усатый швейцар в ливрее и с фуражкой в позументах.

Завидя бабушку, он грустно вздохнул и склонился низко:

— Пожалуйте.

Следом за бабушкой Зайцев вошел в переднюю обширной квартиры; убранство ее, пышное и безвкусное, ясно говорило если не о роскоши, то о довольстве хозяев. Смутная необъяснимая тревога веяла в доме; она тотчас передалась Зайцеву. Заплаканная горничная, разговоры шепотом за стеной, величественная хозяйка, вышедшая в капоте, с платком в руке, — все указывало, что в доме произошло несчастье. Зайцева бабушка тотчас представила хозяйке: красивая пожилая женщина, похожая на византийскую императри-

цу, мельком, но пытливо оглядела подпоручика и без всяких предисловий объявила:

— Сегодня скончалась моя дочь, и я прошу вас, monsieur Зайцев, написать с нее портрет.

Будь на месте Зайцева другой человек, более положительный и трезвый, он, быть может, ответил бы отказом или удивился бы, по крайней мере, странной просьбе совсем ему незнакомой дамы. Но Зайцев был вообще чудака и верил во все сверхъестественное: раз даже ему пришлось снять комнату, обстановку которой накануне он до последних подробностей видел во сне. Поэтому он без малейшего колебания выразил согласие свое на просьбу хозяйки молчаливым поклоном.

— Пройдем к ней, — предложила та.

Зайцев сделал несколько шагов и очутился в узкой комнате с белым гробом посередине. Гроб весь утопал в дымных волнах голубовато-серебряной кисеи, осенявшей девичье лицо и скрещенные руки такой ослепительной красоты, что у Зайцева дыхание перехватило и забилося сердце. Нежный профиль чернобровый и черноволосой красавицы был чист и тонок, как легкий мрамор; губы едва-едва трогала прозрачная улыбка; точеные пальцы слабо держали образок.

Зайцев невольно вспомнил «Вия» и на мгновение ему стало не по себе. В то же время он никак не мог себя уверить, что перед ним покойница. Какое-то могучее чувство, руководившее в этот миг его душой, упорно противилось воспринять то, что подсказывал рассудок.

Хозяйка оставила его наедине с мертвой. Овладев своим волнением, Зайцев долго всматривался в прекрасное лицо.

— Она живая, — пожимал он про себя плечами.

И если бы не гроб и не встревоженные лица домашних, он подумал бы скорей всего, что его просто морочат.

Бабушка тихо подошла к его плечу и прошептала чуть слышно:

— Голубчик, прости, ты меня, старуху. Что хочешь для тебя сделаю, только напиши Леночкин портрет. Уж больно я любила ее, мою голубку.

И, зарыдав, быстро вышла.

Как ни был молод и неопытен Зайцев и как ни возбуждала его вся эта внезапность нахлынувших откуда-то новых впечатлений, он все-таки успел невольно для себя самого заметить, что лицо несчастной матери вовсе не было заплакано, веки не только не распухли, но и не покраснели, а строгие глаза, хоть платок к ним подносился поминутно, глядели на художника в упор с чересчур даже спокойным и пристальным вниманием. Ровный голос хозяйки тоже звучал совсем спокойно. Впечатление это скользнуло только, едва оцарапав сердце Зайцева, но тотчас на душе у него стало еще тоскливей, и он, безотчетно, желая заглушить неприятное чувство, начал готовить вынутые из ящика кисти и устанавливать холст

V

Работая при свечах, ярким и ровным сиянием заливавших голубую комнату и белый на высокой подставке гроб, Зайцев весь с головою ушел в свой труд и не чувствовал никакой боязни. И все ему бессознательно мерещилось, что это он пишет спящую.

Портрет подходил к концу, когда неожиданно сильным порывом ветра распахнулось настежь окно, и мокрый весенний ветер ворвался в комнату холодом и мраком. Чадя и дымясь, мгновенно погасли свечи, кисея заколыхалась. У Зайцева сжалось сердце: ему почудилось, что умершая привстала в своем гробу. Волосы шевельнулись у художника на висках и на затылке и он, себя не помня, выбежал в гостиную весь в поту.

Здесь его ловко ухватил за локоть и остановил на ходу какой-то всклокоченный пожилой господин с рыжею бородою и в засаленном пиджаке.

— Куда вы, юноша? — спросил он довольно резко, с трудом пытаясь скрыть видную тревогу: — али случилось что?

И, видя, что Зайцев ошеломлен таким бесцеремонным нападением, добавил с хитрой улыбкой:

— Я доктор. Я же и лечил нашу бедную Лену.

Тут откуда-то из угла, заставленного этажеркой и цветами, поднялась величавая хозяйка и горячо стала благодарить художника.

— Я вам так обязана, *monsieur* Зайцев, так обязана. Сколько желаете вы получить за труд?

Слегка обиженный Зайцев ответил, краснея, что денег ему не надо, и что он просит только позволения снять себе на память копию с Леночкина портрета.

Хозяйка значительно переглянулась с доктором.

— Хорошо, — поспешно согласилась она и быстро прошла в комнату к покойной. Доктор шмыгнул за нею.

Из-за двери Зайцеву ясно слышался его хриплый шепот:

— Да мертвая, уверяю вас. Ну вот, глядите: я спичку зажег и вот, видать, веко поднимаю. Огонек приставляю к зрачку. Реакции никакой. Мертвая.

Хозяйка в ответ продолжала шептать неясно какие-то непонятные слова.

Но Зайцеву было не до них. Страшная слабость опять одолевала его, клоня ко сну. Он пробрался в переднюю, накинул свое пальто и, ни с кем не прощаясь, незаметно вышел.

Швейцар распахнул перед ним дверь и крикнул, как бы желая заговорить. Зайцев сунул ему двугривенный.

— Покорно благодарю, ваше благородье. Изволили видеть барышню?

— Да, видел, — рассеянно отозвался Зайцев.

— Жалко их очень, — заметил швейцар и опять опасно во крикнул, точно желая оборвать начатую речь.

VI

Занятый своими мыслями, Зайцев почти не заметил, как доехал до семнадцатой линии. Взойдя к себе, он сел у окна в пальто и не снимая фуражки.

Тотчас пригрезилось ему, что входит опять бабушка и приносит ему забытые на Пушкинской кисти и палитру.

— Едем, — говорит она Зайцеву сурово. И опять они вдвоем выходят и едут вместе: едут опять на Пушкинскую улицу.

Но тут бабушка исчезает вдруг куда-то, исчезает и извозчик, и Зайцев видит себя одиноко стоящим на Дворцовой площади — подле Эрмитажа. И жутко вспоминается ему, что здесь, в Эрмитаже, хранится мумия какого-то фараона, и вот, но успел он это подумать, как уже очутился в подвале Эрмитажа перед фараоновой гробницей. И вот подымается медленно перед ним каменная плита, и чья-то рука манит его оттуда, знакомая, только что виденная рука, точеная, с прозрачными ногтями.

Весь дрожащий, очнулся Зайцев на подоконнике. Фуражка давно свалилась с головы у него и лежала на стуле.

Он чувствовал себя разбитым, едва живым.

Денщик, осторожно ступая тяжелыми каблуками, внес шипящий самовар и заварил чаю.

Зайцев выпил чашку, разделся и по обычаю, усвоенному с детства, раскрыл Евангелие, чтобы прочесть перед сном главу.

Открылась ему от Марка пятая глава о воскрешении дочери Иаира. В чуткой, зловещей какой-то тишине, при свечке, читал он, лежа в постели, священные слова и дошел, наконец, до места, где Иисус говорит горюющей толпе: «Что молитесь и плачетесь? Отроковица несть умерла, но спит».

— Да ведь Лена живая! — молнией вспыхнула в нем мысль.

— Конечно, живая. Не умерла, но спит. И ее хотят похоронить. Это кому-то нужно.

Зайцев взволновался. Ему вспоминалась мать, доктор; он перебирал все их слова, движения.

— Она спит, — стучало в его мозгу.

— Боже мой, она живая. Бежать к ней сейчас же, спасти ее. Недаром открылась мне эта глава, точно указание свыше.

Зайцев принялся было проворно одеваться, но скоро собрался, что являться в чужой дом во втором часу ночи с непонятной целью было бы странно и дико.

И в раздумье он опять сбросил на пол натянутый было сапог.

— Ведь не завтра же ее похоронят. Встану утром пораньше и все устрою.

Он крепко уснул, но спал тревожно. Во сне ему представлялся доктор: он ухмылялся в рыжую бороду и дразнил Зайцева, высовывая красный язык.

— Эх вы, юноша, — говорил он, держа Зайцева за локоть. — А дайте-ка я вам зажженную спичку приставлю к глазам.

Проснулся Зайцев поздно и тотчас же полетел на Пушкинскую. Еще издали увидел он у подъезда знакомого швейцара, смотревшего на него с видом сурового сожаления.

— Опоздали, сударь. Увезли нашу барышню на Смоленское, — сказал швейцар.

— Как? — только и мог вымолвить пораженный Зайцев.

Швейцар грустно развел руками.

— Не могу знать. Господин доктор так решили. Им виднее. Оно точно, что непорядок, чтобы на другой день хоронить, а вот подите же, стало быть, надо. И хороша же барышня в гробу лежала, что твой ангел небесный. Ну, как есть тебе живая. Ровно спать...

Извозчик-лихач мчал Зайцева на Смоленское кладбище. Поручик колотил возницу в спину рукоятью шашки, погонял лошадь, умолял ехать быстрее, обещал на чай пять целковых. Пугливо оглядывался на него извозчик и нахлестывал лошадь.

— Стой! — крикнул внезапно Зайцев.

Он увидел на встречном извозчике доктора и мать Лены, возвращавшихся, как видно, с кладбища. Они улыбались и болтали весело, трясаясь на ободранной пролетке. Доктор обнимал толстую поясницу своей дамы, наклоняя рыжую бороду к ее румяной щеке.

Все кончено. Лену похоронили.

Зайцеву хотелось что-то крикнуть, сделать что-то, бежать куда-то, но он чувствовал, что все это будет напрасно и ничему не поможет. И он, махнув рукою, пошел к себе пешком.

VII

Вот что вспомнил теперь поручик Зайцев, лежа в госпитале чужого и далекого города, ночью, с забинтованным плечом.

— Неужели это была она? — сверлило в уме его.

И ему хотелось верить страстно, что это, действительно, она. Ведь с тех пор, с того ужасного вечера, он так и не был на Пушкинской, и даже не помнит, как следует, рокового дома.

Бабушка тоже умерла месяца три спустя.

Как знать! Может быть, Лена очнулась перед тем, как готовились опустить на нее гробовую крышу, и оттого, быть может, и были так веселы тогда мать и доктор?

Каждую минуту сознавал Зайцев нелепость своих предположений, но бессознательное чувство, помимо воли руководившее душой, отказывалось принять доводы рассудка.

И поручику казалось временами, что вот-вот, он сойдет с ума.

Белая дверь в глубине зала приоткрылась и скрипнула. В полумраке показалась она.

— Лена! — крикнул Зайцев.

Сестра шагнула вперед.

— Кто зовет меня? — спросила она, растерянно озираясь.

Но Зайцев уже лежал без чувств.

ЯЗЫЧНИКИ XX ВѢКА.

Корреспондентъ «Нов. Вр.» сообщаетъ интересный фактъ:

«Предо мной четвертушка писчей бумаги, истрепанная и грязная — отрывокъ какого-то письма. Эту бумажку я нашёлъ около трупа нѣмецкаго солдата. Молодой еще нѣмецъ былъ раненъ шрапнелью въ голову въ то время, какъ бинтомъ

перевязывалъ себѣ руку. Осколокъ разбилъ ему черепъ, и солдатъ упалъ навзничь, причемъ мозги вывалились наружу. Онъ такъ и окостенѣлъ съ бинтомъ въ рукѣ и внимательно сосредоточеннымъ выраженіемъ на лицѣ...

Разбираясь въ мелко исписанномъ нѣмецкимъ готическимъ почеркомъ

бумажкѣ, я былъ пораженъ неожиданностью: около трупа солдата культурной націи XX вѣка лежало заклинаніе... Вотъ дословно, что было написано на бумажкѣ:

«Если у кого изъ носа кровотечение, или если онъ раненъ, то долженъ положить на рану это письмо, и кровь перестанетъ течь (So wird sich das Blut stillen). Или, если кто не вѣритъ этому, — возьми кровь на ножъ, напиши заглавные буквы и уколи животное — кровотечение, конечно, прекратится.

Bin (+). Kufus (+) Lustus (+). Narren (+). Libesch (+), Munna (+). Jesus (+) Maria (+). Joseph (+)...

«Эта дѣйствительнѣйшая и для всѣхъ людей цѣлительная молитва Кресту Христову была найдена въ 1505 году на гробѣ нашего Господа и Спасителя. Когда «Kaiser Karl» отправился на войну, то получилъ ее въ благословеніе отъ папы. Когда онъ вступилъ во Францію, то велѣлъ начертать молитву золотыми буквами на своемъ щитѣ.

Кто ежедневно читаетъ молитву эту или выслушиваетъ ее и затѣмъ произноситъ «Отче нашъ» изъ Страстей Господнихъ, тотъ не умретъ никакой неестественной смертью и не будетъ изведенъ ядомъ...

Рождающая женщина легко родитъ, и когда отецъ новорожденнаго положить дитя справа отъ матери, то оно...

На этомъ прерывается текстъ обрывка бумаги.

Г. Полилов

ПЕРСТЕНЬ

Осенний ветер сметал пожелтевшие листья, заваливая ими всю аллею, полукругом подходящую к небольшой усадьбе.

Усадьба была покинута хозяевами. Помещик-поляк забрал все, что имелось поценнее и вместе с женой и детьми уехал в Варшаву. В доме остался только старый слуга, здесь родившийся, выросший, по-собачьи привязанный к своим хозяевам.

Недолго оставался дом пустым. И дня не прошло, как на безлюдный двор усадьбы прискакали немецкие уланы, осторожно высматривая, нет ли где казаков и, убедившись, что последние отсутствуют, сделались более развязными, стали проникать повсюду, заглядывать в кухни, в погреба, и через посредство нескольких своих товарищей, понимающих по-польски, принялись расспрашивать, где стоят русские войска, много ли их, где находится помещик и т. д.

На все их вопросы отвечал старый Ионтек незнанием, качал отрицательно поседевшей головой и только грустно глядел на панские покои, в которых так своевольно хозяйничали незванные гости.

— Не знаешь, старый черт; ну, так мы тебе вернем память! — злобно закричал немецкий вахмистр и изо всей силы ударил кулаком по лицу старика.

Пошатнулся верный слуга, кубарем свалился на пол, слабо застонал, пытаясь подняться.

Точно обрадовались остальные уланы этому удару и сами в свою очередь начали бить лежащего старика.

На дворе зашумели автомобильные колеса, кто-то подъехал к крыльцу, солдаты бросились врассыпную, хотел ускользнуть и толстый вахмистр, но незапертая дверь распахнулась и в переднюю, где происходило избиение, вошел престарелый прусский генерал высокого роста и остановился.

Вслед за ним в комнате появились еще четыре штабных офицера.

— Что такое тут происходит? — сурово спросил генерал.

Вахмистр по-своему объяснил происшедшее.

Генерал брезгливо посмотрел на пытавшегося подняться старика и прошел в комнату.

Вслед за ним потянулись и офицеры.

II

Усадьба была отведена под немецкий штаб дивизии. Немцы расположились здесь, как дома: играли даже на старинном Виртовском рояле, который издавал какой-то боязливый нежный звук, быстро разлетавшийся по старинным комнатам.

Генерал фон Брюген отвел себе хозяйский кабинет, где отлично поместился на дедовском широком диване, крытом зеленым мягким сафьяном. Старый Ионтек должен был ему лично прислуживать, а перед сном, когда генерал находился уже в постели, рассказывать о соседних поместьях.

Любил старый генерал также и выдержанное вино. Он строго-настрого заказал Ионтеку, чтобы тот берег хозяйский погреб и приносил вино только ему, а офицерам не давал.

Но что мог сделать старый Ионтек с нахальными прусаками? Они давно уже навестили подвал и отлично пользовались его содержимым!..

— Панове, не должно брать вино, ваш же генерал запрещает, — старался убедить он офицеров в надежде, что после их ухода останется что-нибудь и для настоящих владельцев.

— Нам не приказ генерал, мы отлично знаем без него, что делать. А если ты посмеешь нам еще возражать, то посмотри вот, что мы с тобой сделаем! — вызываяще крикнул прыщеватый молодой лейтенант и, выхватив саблю, изрубил две масляные картины, висевшие в гостиной.

Остальные товарищи его захохотали.

Дивизионный генерал оказывался очень слабым, бездейственным человеком. Никто из офицеров его не слушался и

старый немец все время занимался только курением сигары, едою, истреблением хозяйского вина да разговорами с Ионтеком.

— Вот приедет сюда наш кайзер, он задаст всем этим русским свиньям феферу! — сказал он как-то старому слуге, когда тот закутывал ему ноги теплым одеялом.

Старик наивно взглянул на германца и неожиданно, точно откуда-то у него явилась смелость, промолвил:

— А вот и не задаст!

Фон Брюген хотел уже раскричаться на такое замечание слуги, как любопытство заставило его спросить:

— А почему же ты думаешь, что он их помилует?

— Да потому, что не добраться ему будет до русских! Руки коротки! У нас поляки рассказывают, что одна рука у вашего императора короче другой.

— Это не беда, он и ею сумеет захватить, что нужно!

Но переспорить старого Ионтека было трудно. Много он видел во время своей долгой жизни, немало чего наслушался и смело возразил генералу:

— У нас в Польше есть предание, что старая Польша, теперь разьединенная, снова воссоединится и уйдет из-под власти пруссов и австрияков...

— Польская собака! — крикнул генерал в сердцах.

Фон Брюген, кряхтя, повернулся на бок, достал с ночного столика стакан со старым вином, сделал глоток и, смягчившись, промолвил:

— Наказать бы тебя следовало за такие слова! Ну, рассказывай дальше!

Не струсивши, Ионтек посмотрел выцветшими глазами, подумал минуту и, махнув рукой, снова заговорил:

— Там у пана в шкафу есть книжка, так в ней все сказано...

И, не ожидая ответа генерала. Ионтек зашаркал ногами, направляясь к старому, немного покривившемуся шкафу из крепкого ореха.

Привычные руки быстро вытащили с полки необходимую книгу.

— Вот, читайте, если по-нашему, по-польски, смыслите!

Фон Брюген взял эту небольшую пузатенькую книгу, осторожно понюхал, осмотрел ее со всех сторон, точно опасаясь, не подвох ли тут какой, и стал перелистывать.

— Тут у пана ленточкой заложено, там и читайте.

Генерал впился глазами в строки книжки и прочитал:

«Когда земная кровь воссоединится с небесной и кровавой дождь прольется на землю, произойдут тяжкие испытания для нашей матери-Польши. Но это время будет последним часом ее тяжелых мук и горя. Ни пруссы, ни цесарцы не одолеют белого орла с востока. Он растреплет то и другое царства, уничтожит их от края до края. Вот тогда и настанет радостное время, когда все три части нашей родины воссоединятся. А пока — жди и терпи, польский народ!»

Фон Брюген нервно откинул книгу на одеяло и задумался.

Старые люди в большинстве случаев суеверны. Неожиданное предсказание, пропитанное им, встревожило старика.

— Возьми ты свою чертовскую книгу,— крикнул он Ионтеку и нервно осушил весь стакан.

— Ну, убедились теперь, что я говорю правду? — торжествующим голосом проговорил Ионтек.

Генерал молчал, только глаза его сердито перебегали по стенам комнаты.

— Мало ли какой глупости не напишут, всему верить нельзя. Вон тоже у нас иные солдаты, даже офицеры, верят заклинаниям.

Бескровные уши Ионтека насторожились. Старик тоже был склонен ко всему таинственному.

— А какое такое заклинание? Разные есть ведь! Некоторые действительно.

Крякнул фон Брюген, нахмурился, пальцем поманил к себе поляка поближе и, указывая на висевший на вешалке мундир, нерешительно заметил:

— Достань там в кармане записную книжку!

И когда она была ему принесена, достал из нее тщательно сложенную бумажку и как-то глухо начал читать. Ви-

димо, ему хотелось поделиться со стариком Ионтеком некоторыми сведениями, волновавшими его.

«Если у кого из носа кровотечение или если он ранен, тот должен положить эту записку на рану и кровь перестанет течь. Кто этому не поверит, может убедиться. Положи эту бумагу на острие ножа и уколи собаку или лошадь, кровь не пойдет...»

Ионтек, внимательно слушавший плохой перевод на польский язык читавшего, утвердительно кивнул головой.

— Этому верить можно, у нас в фольварке есть две женщины, так они тоже кровь останавливают.

Точно довольный его одобрениями, фон Брюген начал читать снова, теперь уже громче:

— «Бин, Кусус, Люстус, Нарен, Зибеш, Муна, Иезус, Мария, Иозеф!»

При чтении последних трех слов Ионтек набожно перекрестился.

— Это очень действительная молитва, — сказал генерал, — ее нашли в 1505 году на гробе Спасителя. Когда император Карл отправился в поход, он получил ее в благословение от папы.

— А вы католик, пан? — неожиданно прервал чтение генерала слуга.

— Я саксонец, — точно нехотя, вымолвил фон Брюген.

— Вот, вот, я и вижу, что вы в Бога верите, а то ваши остальные швабы костелы наши разоряют.

Генералу, видимо, было неприятно слушать эти слова. Он хотел уже окончить затянувшийся разговор, но сейчас же снял с пальца какое-то кольцо из алюминия и, показывая старому Ионтеку, доверчиво проговорил:

— Вот, если это кольцо носишь постоянно на пальце, никакая пуля тебя не ранит, сабля не поразит, в этом я сам убедился!

Слуга потянулся за чудодейственным кольцом. Фон Брюген передал ему. Старик стал внимательно рассматривать вещь.

В трубе завыл тоскливый осенний ветер, где-то зашуршало за окном сухими листьями, стукнула плохо привязан-

ная ставня, саксонский генерал боязливо пожал плечами, потянул на себя теплое одеяло и, забыв о переданном кольце, сейчас же заснул.

III

В других комнатах шел кутеж. Офицеры старательно истребляли вина, громко о чем-то спорили. Двое из них играли в карты.

Ионтек старался молчаливо проскользнуть мимо пирующих, но один из офицеров, рыжеватый блондин, заметил слугу и окрикнул:

— Эй, польская собака, чего ты там крадешься, точно шпион какой!

Ионтек остановился и, не подходя к военному, ожидал, что ему скажут.

— Раздобудь меда, мы все выпили, у тебя, поди, где-нибудь спрятан!

— Ни меда, ни вина у нас больше нет, — обрывисто ответил старый.

— Поищи хорошенько. Просить мы не станем, а приказываем, — поднимая голову от карт, дерзко крикнул уже немолодой майор. — Поди сюда!

Послушно поплелись старые ноги Ионтека.

— Сейчас, чтоб мед был здесь и вино, какое есть! — заорал пруссак на стоявшего перед ним слугу.

Глаза его отыскиали на пальце последнего генеральское кольцо.

— Это что? Украл генеральский амулет? Завтра тебя за это повесим!

— Да, да, генерал без этого амулета и на лошадь боится садиться, — засмеялся рыжеватый лейтенант.

— Ну, польская собака, пока тебя завтра повесим, сейчас неси нам вина! — раздался повелительный голос майора.

Ионтек, опустив голову, ничего не ответив говорившему, медленно побрел из комнаты.

IV

Просыпалось утро, темноватое, неприветливое. Все кругом глядело тоскливо.

Хорошо выспавшийся генерал поднялся, приказал Ионтеку подавать умываться и старательно принялся за свой туалет.

— Там вчера, пане, вы мне показывали ваше чудесное кольцо, — протянул слуга.

— Ах, да, вспомнил! Где же оно?

— Да у меня в каморке лежит, я боялся, чтобы не затерялось! Я сейчас принесу.

— Постой, сперва приготовь мне кофе, это успеется.

Но не удалось на этот раз генералу напиться любимого напитка. В усадьбу прискакал прусский улан. Сейчас же раздалась тревога, все закипело, зашевелилось, стали седлаться лошади, на веранде появились заспанные лица офицеров.

— Скорее, скорее; сейчас тут будут казаки! — раздавались возгласы.

Не прошло и десяти минут, как весь штаб дивизии уже сидел на седлах и понесся вон из усадьбы, совершенно забывая о престарелом фон Брюгене.

Когда он вышел после всех во двор, то мог убедиться, что ему оставили какую-то плохо оседланную лошадь. С помощью того же Ионтека старый саксонец поднялся на седло, ударил престарелого буцефала и поскакал.

С другой стороны усадьбы уже неслись, пригнувшись к лошадиным гривам, удалые станичники.

Белая лошадь фон Брюгена еще издалека обратила на себя внимание, и казак метким выстрелом из винтовки свалил генерала и понесся дальше вслед за остальными скакавшими врагами.

Сраженный пулей, генерал, неестественно разметавши руки, лежал мертвый на мягком ковре из листьев, устилавших аллею. Старая лошадь, опустив голову, неподвижно стояла тут же.

Только когда казацкий вихрь промчался через усадьбу, древний Ионтек, заметивший подслеповатыми глазами неподвижно стоявшего коня, пошел по аллее и набрел на убитого генерала.

Как благочестивый католик, он сложил последнему руки, оттащив немного в сторону с дороги, помолился за душу убитого и, покачав головою, посмотрел на чудодейственный перстень, который не успел передать утром генералу и надел на свой безымянный палец.

Арамис

ПРИВИДЕНИЕ

(Новогодний рассказ)

В громадном, сводчатом зале старинного французского замка встречали Новый год четверо германских офицеров.

Они сидели за длинным, уставленным бутылками и различными закусками, столом, весело болтали, рассказывали различные забавные истории, громко хохотали и дружно чокались, поглощая огромное количество шампанского.

— Я боюсь, не хватит вина... — сказал полковник Миллер, — до двенадцати часов еще порядочно времени, теперь всего одиннадцать. Пожалуйста, лейтенант Галлер, кликните слугу. И куда это они все попрятались, черт возьми? Вы способны еще держаться на ногах и... ха... ха... ха! лавировать?

— К вашим услугам, господин полковник! — не совсем уверенно ответил Галлер. — О, я могу выпить гораздо больше... Это пустяки... Я сейчас...

Он, пошатываясь, вышел из комнаты и через четверть часа вернулся, подталкивая кулаком в спину старого слугу-француза и бессмысленно хохоча.

— Этот негодяй не хотел сюда идти! — доложил он майору. — Но я его схватил за шиворот и порядком намылил ему шею...

Полковник одобрительно кивнул ему головой и сказал слуге:

— Принесите еще вина, старикашка. У нас иссяк весь запас. Живо!

— Но вина больше нет, сударь... — тихо проговорил слуга.

— Как нет? Должно быть вино! — бешено вскричал полковник. — Удивительные люди эти французы! Мы рассчитывали встретить Новый Год в обществе хозяйки этого замка, но эта гордячка заблаговременно удрала. А теперь нам не хотят подать вина. Я вас прикажу повесить, старый болван! Неужели вина нет в погребе?

— В погребе вино есть, но... видите ли, сударь, ночью ни я, ни один из моих товарищей не решится пойти туда... Погреб находится довольно далеко отсюда. Чтобы попасть туда, надо пройти целый ряд нежилых комнат...

— Чего же ты трусишь, старый осел? — сердито спросил полковник.

— Видите ли, сударь... По ночам в замке является привидение... Женщина в белом... Я видел собственными глазами... После этого я не могу оставаться один в комнате... Я боюсь... — пробормотал старик.

— Привидение? Вы слышите, господа? — расхохотался полковник. — Это забавно! Женщина в белом, говорите вы? Очень жаль, если нам не придется ее видеть! Мы очень нуждаемся в женском обществе! Кстати, майор Курт, где те девушки, которых захватили наши храбрые солдаты в окрестных деревушках? — повернулся он к одному из офицеров.

— Эти негодяйки так вели себя... что их пришлось, того... придушить... — мрачно ответил майор.

— Очень жаль! Значит, придется довольствоваться бутылками! — вздохнул полковник. — Ну, старина, возьмите с собой двух моих солдат и тащите вино, иначе я вас повешу, клянусь сатаной! До двенадцати осталось десять минут.

Слуга молча вышел из комнаты и скоро вернулся в сопровождении двух пруссаков, которые молча расставили на столе батарею бутылок и удалились. Захлопали пробки, зазвенели стаканы, и полковник решил обратиться к своим подчиненным с краткой речью.

— Господа, поздравляю вас с Новым Годом, — заплетаясь языком заговорил он. — Я надеюсь, что в новом году мы победим врагов. Из-за них мы голодаем и мерзнем в сырых траншеях! Поэтому, господа, в Новом Году мы должны еще меньше щадить их. Да здравствует жестокость! Мы перережем всех, не щадя ни женщин, ни детей! Хох!

Офицеры дружно прокричали «хох!» и стали чокаться со своим командиром.

— Вы можете продолжать, господа! — сладко зевнув, проговорил полковник: — а я отправлюсь на покой. Я так устал... Спокойной ночи!

Он поднялся с своего места и пошел следом за слугой. Они долго шли по узким коридорам, пока очутились в небольшой комнате со сводами и узкими, напоминавшими

бойницы, окнами. У стены стояла сиявшая свежим бельем кровать, рядом — ночной столик, — единственная мебель, находившаяся здесь. Слуга поставил на ночной столик зажженную свечу, молча поклонился и исчез.

Полковник разделся, погасил свечу и с наслаждением растянулся на кровати, но долго не мог заснуть: он испытывал какую-то смутную тревогу.

Ворочаясь с боку на бок, он слышал тихий скрип отворяемой двери, в ужасе приподнялся, оглядел комнату и задрожал: от двери медленно, словно скользя по воздуху, двигалась к его постели высокая женщина в белом платье, с длинными черными, распущенными по плечам, волосами, окруженная фосфорическим сиянием. Ее прекрасное лицо было мертвенно-бледно, черные глаза с ненавистью смотрели на пруссака, тонкие пальцы полуобнаженных, вытянутых вперед рук шевелились.

Полковник сделал попытку крикнуть, но из горла его вырвались только хриплые звуки и он со стоном упал на подушки.

Утром прусские офицеры нашли своего начальника в постели мертвым.

На его шее виднелись ясно следы чьих-то железных пальцев, окаменевшие черты его лица были искажены диким ужасом...

Георгий Павлов

ДВОЕ

В конце октября мы заняли в южной Галиции, у отрогов Карпат, австрийский замок.

Названия его никто не знал, да и не интересовался узнать; для нас было важно то, что, наконец, представлялась возможность отдохнуть и выспаться, как следует. Перед тем мы провели больше двух недель в окопах; днем приходилось отстреливаться от гонимых, а ночи воевать с лягушками, без церемонии разгуливавшими по рукам и лицу и норовившими забраться за воротник. При том же ночи стояли очень холодные и к утру пальцы немели до того, что еле справлялись с затвором винтовки. В конце концов, нам это надоело: мы выбили австрийцев из траншей и погнали, как баранье стадо, далеко вперед уцелевшие остатки их батальонов. Во время преследования мы и нашли этот замок. Дело было к вечеру, люди устали и проголодались — решено было заночевать здесь.

Замок стоял на горном склоне, среди громадного парка, похожего на лес, в оголенных ветвях которого ветер, постоянно дующий на северных отрогах Карпат, справлял настоящий шалаш по случаю нашего прибытия. Но стены замка, сложенные, быть может, много веков тому назад, с честью выдерживали его натиск, и только в каминных трубах стонал и всхлипывал кто-то, как будто оплакивая печальную участь Габсбургов!.. Замок, по-видимому, был покинут совсем недавно: в столовой мы нашли накрытый стол, оставшийся неубранным после обеда, и красные розы в высоких хрустальных вазах на белоснежной скатерти, освещенной электричеством, так странно не гармонировали с глухим, мертвым молчанием этой комнаты, высокой и угрюмой, точно церковь.

Несмотря на усталость, мы тщательно осмотрели все помещения замка. Его двадцать четыре комнаты показались нам великолепными, и не только после окопов. В большинстве из них преобладал стиль Luis XVI: паркетные полы, отражающие всю фигуру, как зеркало, драгоценные штофные обои блеклых тонов — под цвет мебели, старинные плафоны на потолках и целая галерея картин, которой позавидовал бы любой из европейских музеев. Владельцы зам-

ка, проводившие в нем, по-видимому, и лето, и зиму, обладали художественным вкусом и позаботились о том, чтобы долгие осенние вечера не казались им слишком скучными. В ожидании обеда, каждый из нас нашел здесь для себя развлечение. Молоденький прапорщик, ученик консерватории, открыл рояль в гостиной. Он играл с упоением, наслаждаясь блаженством, которого был лишен так долго, и мелодии Грига и Иернефельдта, оживляя и согревая тишину, наполняли ее волнующим сладким очарованием. Другие, менее поэтические натуры занимались «серьезным делом» в бильярдной, а я возвратился в библиотеку, уже ранее завладевшую моими мечтами.

Библиотека в самом деле была великолепна. Трудно было придумать более подходящий приют для наслаждений мысли, чем эта восьмиугольная комната без окон, со стеклянным потолком, открывавшим над моей головой яркие звезды галицийского неба. Осветив библиотеку, я долго любовался стройными рядами книг в одинаковых переплетах, возносившимися здесь прямо к небу. Это была армия, которой нельзя победить, и которая в конце концов подчинит весь мир своей власти. В этом древнем замке, покинутом владельцами и отданном без сопротивления в руки врага, в самой тихой из его комнат, тихой, как монастырь, как святилище, продолжала жить своей бесконечной жизнью многогранная, прекрасная, бессмертная мысль человечества. В ее тишине звучали все битвы, когда-то создававшие и разрушавшие монархии, республики, цивилизации; оживали величавые мертвецы, давно истлевшие в своих саркофагах; гремели пророческие глаголы религий, сияли лучезарные солнца науки, открывались роскошные долины поэзии, залитые лунным светом, благоухающие ароматом цветов, населенные таинственными мистическими мелодиями. Я думал о том, что война, крутящая меня сейчас, точно соломинку, в своем водовороте, пройдет, как все другие, оставив после себя один лишь памятник, — книгу, на страницах которой жемчужины мученичества, сострадания и верности долгу и сердцу будут сиять, быть может, ярче и дольше великих битв, горделивое золото которых потемнеет от крови.

Я поднял голову. В вышине, на темном южном небе, звезды светились теперь задумчиво и кротко. Блеск электричества, острый, крикливый, надменный, не смог погасить этих светочей, — он их только окутал дымкой, похожей на забвенье. Это была минутная победа сегодняшнего дня над вечностью, — не более. Звезды бледнеют, когда горит электричество; когда оно погаснет, их огни засияют тем ярче...

В столовой обед прошел тихо. Все были утомлены и думали только о сне; к тому же роскошная сервировка не оправдала наших ожиданий насчет того, что меню окажется достойным этого великолепия. В буфете и кладовых замка мы нашли немного: очевидно, практичные хозяева более заботились о своей провизии, чем о драгоценностях.

Это был странный обед, возможный только на войне. Столовая в два света, с хорами по стенам, с колоссальными окнами и маленькой дверью, незаметной между громадами буфета и камина, тонула в сумраке; только стол был ярко освещен и блеск электричества, отраженный скатертью, холодно лежал на бледных измученных лицах девяти офицеров и их изношенных кителях, почти утративших свой первоначальный цвет. Здесь не было хозяев, — были только гости. Их усталые плечи, стертые ремнями снаряжения, покоились на спинках высоких стульев, обитых драгоценной кожей, их шпоры царапали блестящий дубовый паркет. Они ели черствые сухари и солонину с фарфоровых тарелок серебряными ножами и вилками, и кроваво-красные розы ласкали своим ароматом их обоняние, притупившееся от пороха. А снаружи завывал ветер и в камине рыдал и всхлипывал кто-то бесприютный, одинокий, заброшенный, — такой же, как они, которым на завтра предстояло, быть может, холодная ночь на голой земле под осенним небом — ночь, которая всегда может быть последней.

После обеда сейчас же разошлись на ночлег. Я расположился в библиотеке: разумеется, этот выбор не обещал мне слишком раннего сна, но из двух искушений приходилось уступить сильнейшему. Лежа на диване, я наудачу вынул первый попавший томик: то были японские новеллы Херна. Через несколько минут я уже бродил по болотистым

Ниппонским долинам среди прямых тонких сосен, между которыми полная луна выплывала из-за остроконечных горных вершин, вел беседу с самураями в латах, следил за полетом заколдованных журавлей, плясуньями в разноцветных кимоно. Неожиданно эти мечтания были прерваны действительностью в лице моего денщика, появившегося в дверях библиотеки.

— Мне ничего не нужно, Гаврилов. Ступай спать.

Солдат нерешительно переминался с ноги на ногу.

— Ваше благородие, разрешите стать на караул.

— Зачем? Смена уже наряжена. Ты можешь спать спокойно.

— Они во дворе...

— Ну, так что же? Тебе мало этого? Где же ты хочешь караулить?

— Вот в той комнате, где изволили кушать господа офицеры.

Почетная охрана, как будто перед опочивальней Наполеона! Я невольно улыбнулся. У моего вестового нередко являлись странные фантазии, к которым нельзя было, однако, относиться слишком легкомысленно. Этот молодой парень, преданный мне беззаветно, обладал способностью чутко опасность издалека, точно гончая, каким-то особо обостренным инстинктом, и не один раз уже его причуды спасали меня от смерти или плена. Но на этот раз его осторожность показалась мне излишней. Кроме нас, в замке не было никого. Чтобы пробраться в комнаты, надо было войти во двор, а наши люди не привыкли спать на карауле. Тем не менее, солдат не сдавался. Аргументы, приводимые им, не отличались убедительностью; бедняга плохо умел формулировать свои мысли, но я понимал, что от австрийцев он, наученный горьким опытом, готов был ожидать всего. В конце концов, пришлось дать просимое разрешение.

Мне не спалось. Почитав еще с полчаса, я встал и начал ходить по комнате. Беспокойство солдата мало-помалу передалось и мне. Тревожная и сумрачная действительность, действительность опасного похода, о которой я забыл, погрузившись в свои мечты, теперь чувствовалась острее и

ближе, чем ранее. В замке все уже спали и тишина, изгнанная нашим вторжением, опять вступила в свои мрачные права. Надо было побороть неприятное настроение, охватившее меня. Я вышел, чтобы посмотреть на моего часового, но в темном коридоре не мог найти выключатель и вернулся за своим карманным фонарем. Взгляд мой случайно упал на другую дверь в углу библиотеки. Я отворил ее и очутился в нешироком коридоре, в конце которого брезжил свет. Это показалось мне странным. Значит, еще кто-то из наших боролся с бессонницей? Но в комнате, куда привел меня коридор, не было никого: свет, который я видел, вливался в нее через окно, выходявшее на хоры столовой. Отворив окно, я перешагнул низкий подоконник и наклонился над перилами балюстрады.

Столовая лежала теперь подо мной, как сцена перед зрителем в ложе. Эта сцена была ярко освещена.

Сверху я видел ясно коренастую фигуру в папахе, облокотившуюся на ружье. Как загнипнотизированный, он не спускал глаз с портрета, висевшего или, вернее, стоявшего перед ним во весь рост.

Это был старинный портрет, по манере, Ван-Дейка. На темном фоне гор, облаков и низких кудрявых деревьев выступала фигура мужчины в костюме эпохи Филиппа II. На нем были ботфорты со шпорами и украшенный кружевами черный кафтан. Орден Золотого Руна красовался на его груди, испанская шапочка с перьями покрывала голову с длинными вьющимися волосами. Одна рука рыцаря лежала на эфесе шпаги, другою он приподнимал складки завесы, открывавшей мрачный пейзаж на заднем плане. Две собаки с остроконечными мордами стояли, как будто на страже, у его ног.

Еще за обедом я обратил внимание на этот портрет. Изумительно удалось художнику лицо, — живое, выразительное лицо, от которого трудно было оторваться. Это был австриец, аристократ, быть может, принц королевской крови — один из предков вымирающего рода, жалкие эпигоны которого бежали, бросив свое родовое гнездо, перед русскими штыками. Темные волосы оттеняли высокий бледный

лоб рыцаря, тонкие губы улыбались, глаза были прищурены: лоб говорил о напряженной работе мысли, рот — о сладострастии и жестокости, насмешливый взгляд казался исполненным лукавства. Кто был этот надменный аристократ? Командовал ли он некогда могущественным флотом Габсбургов, или строил дипломатические ковы в имперском совете? Несла его шпага смерть врагам в открытом и честном бою, или он предпочитал поражать ею из-за угла, с благословения отцов-иезуитов? Его нежная белая рука, почти женская, не могла быть очень сильной; его вероломство было изящным и улыбающимся, его мудрость, привыкшая жонглировать латинскими цитатами, была софистической, изменчивой и предательской. Орден Золотого Руна высоко лежал на груди, широкой груди дворянина и воина, и только скользкий взгляд выдавал тайные чувства, которые колебали эту грудь.

Солдат, как и я, не спускал глаз с портрета. Неподвижно, молча стояли друг против друга, такие различные, такие далекие, волей неисповедимых судеб сошедшиеся лицом к лицу — сыновья двух народов, решающих свой последний исторический спор железом и кровью. Один был серъезен и сумрачен, другой улыбался. Вся Австрия вставала за его тенью, не та Австрия, расслабленная, умирающая, распадающаяся по кускам, как гниющий труп, которой нам предстояло нанести последний удар — другая, сильная, могучая и надменная империя Габсбургов. Ее вечную ночь озаряли костры инквизиции, у подножья возвеличенного интригами трона пресмыкалась лесть, фанфары славы сливались с проклятиями народов, лишенных самостоятельно, раздавленных, задыхающихся под железной пятой.

Другой стоит так же неподвижно, опираясь на свое ружье. Поза его некрасива, как он сам, приземистый и серый, как поля его далекой родины. В его прошлом нет ни груженных золотом галеонов, ни торжественных ауто-да-фе, ни блестящих королевских венцов, украшенных рубинами цвета крови. Но из родимых болот, из лесов, занесенных снегом, от ступеней ветхой приходской церкви, единственного богатства и гордости бедной деревни, он принес с собою та-

кую же твердую волю, бесхитростную и наивную веру в Божий промысел и верность без расчета и меры, верность, во имя которой он боролся теперь со сном.

Его портрет не будет жить вечно на стене гордого замка, его могила, безымянная, забытая, как сотни и тысячи других, сравняется с прахом чужой земли, куда привел его святой долг пред отчизной. Но судьба, презиравшая блестящие оболочки, всевидящая и мудрая, уже бросила на его землистое серое лицо отблеск своей славы. Его мозолистой руке, оставившей соху, чтобы опираться теперь на дуло винтовки, суждено перевернуть страницу в великой книге истории. Невежественный и темный, точно глыба земли, на которую весной повеял Дух Божий, чистый сердцем и сильный штыком и волей, он стоит здесь, как вестник светлого будущего, которое пришло на смену мрачного прошлого там, за откинутой завесой на портрете.

Но прошлое не хочет умирать. Бескровное, лишенное сил, оно пускает в ход свое последнее оружие, — темную силу коварства и предательства. Борьба еще не кончена, но в исходе ее уже нет сомнений.

И все-таки, прошлое еще борется...

Что это? Неужели я сплю и вижу сон? Портрет начинает оживать. Да, да, несомненно — он движется: плавно, медленно, фигура начинает выступать из своего темного фона. Нет... Я ошибся, она движется вместе с ним; как дверь, которую отворяют, весь портрет начинает отходить в сторону, очертания фигуры меняются, суживаются и, наконец, я перестаю их видеть.

Зато я вижу нечто другое: темный квадрат на месте портрета — настоящую потайную дверь, и человека, появившегося на пороге. Человек в черном сюртуке осторожно пробирается в столовую неслышной кошачьей поступью — и попадает прямо в объятия часового.

Между ними начинается борьба, ожесточенная борьба, хотя и безмолвная. Серая шинель и черный сюртук, слившись вместе, падают на пол...

Менее чем в одну минуту я очутился внизу. Все уже было кончено: человек в сюртуке лежал на спине, придавлен-

ный могучим коленом солдата. Он отвернулся, и я не вижу его лица, вместо него передо мною лицо портрета, так же беззвучно снова занявшего прежнее место: высокий лоб, насмешливая улыбка и полузакрытые глаза предателя... — Мало-помалу наши сходятся в столовую. Австрийца, уже связанного, уводят; победитель, вялый и неповоротливый, как всегда, дает свои объяснения, потом начинается осмотр портрета. Оказалось, что он представляет собою дверь, открывавшуюся при нажиме на пружину, которую мы нашли довольно скоро. В комнате за дверью была адская машина, заведенная, которая должна была взорваться очень скоро и уничтожить замок и нас вместе с ним. Но человек, остававшийся в замке, не хотел пасть жертвой своего замысла. Он сделал попытку к бегству, не подозревая о карауле в столовой, и это погубило его и спасло нас.

Я не присутствовал при допросе злоумышленника. После мне говорили, что он отказался отвечать, не назвал себя, держался с достоинством и умер довольно мужественно. Его расстреляли на рассвете, под холодным серым небом и зарыли тут же, во дворе замка, чудом спасенного от разрушения.

Скоро приехал мотоциклист из штаба с приказом. Надо было немедленно двигаться дальше. Я вернулся в столовую, чтобы взглянуть еще раз на портрет. Я почти удивился, увидев его на том же месте. Мне казалось, что тот человек без лица и имени, который лежал теперь в отдаленном углу двора, был душою этого портрета, душою того, кто умер сейчас вторично и продолжал смотреть на меня, улыбаясь, из своей драгоценной тяжелой рамы.

И я думал о том, что этот мрачный призрак прошлого, отмеченный точно клеймом таинственного заклатья, ожидающий в молчании угрюмых ночей своего замка, все же осужден, и нет в мире силы, которая могла бы изменить приговор судьбы.

Его улыбка, насмешливая и коварная, была только засывшей улыбкой трупа. И его вечная жизнь на полотне была только смертью.

Александр Грин

БОЙ НА ШТЫКАХ

Я всю ночь не сомкнул глаз; я не боялся, но неотвратимая необходимость испытать завтра же нечто совсем особенное, непохожее на лежание в окопах и стрельбу в невидимого врага — волновала меня. Я старался предугадать будущие свои ощущения... Вот я, тяжело дыша, бегу с выставленным вперед штыком на врага, бегущего ко мне с таким же острым штыком... мы сталкиваемся...

На этом моя бедная фантазия останавливалась, а сердце сжималось.

Рассвело, обычная боевая возня пришла к концу, и рожки заиграли выступление. Мы совершили порядочный переход, вступили в перестрелку с врагом, окопались, и наконец после артиллерийской подготовки был отдан приказ идти штыковой атакой на неприятельские окопы.

Мы поднялись, крикнули нестройно — «ура!» и, растянувшись по неровному полю прыгающими зигзагами человеческих линий, побежали вперед. Навстречу дул сильный ветер; в его ровном гуле вспыхивали свистки пуль, летевших навстречу. Я молча ожидал смерти, спеша изо всех сил к немецкой траншее.

Нервность моего состояния была так велика, что я весь дрожал. В это время произошло нечто весьма странное...

Мне показалось, что я остановился на мгновение, против воли, а затем, получив какую-то необъяснимую легкость во всем теле, побежал дальше. Впереди меня двигался солдат, к которому я сразу почувствовал болезненный интерес. Все в этом солдате — его фуражка, спина, сапоги, манера бежать — казались мне давно, давно знакомыми, виденными; нагнав солдата, я посмотрел на его лицо; это было мое лицо; да, я силой сверхъестественного нервного напряжения видел самого себя; я как бы раздвоился, хотя сознавал, что очень тесная связь существует между мной просто и между мной — солдатом. То, что было во мне солдатом, бежало отдельно от меня, механически. Этот психологический миг давал полную иллюзию двойственности. Итак, я видел себя и — что скрывать! — опасался за себя, вступившего в эту минуту в рукопашную схватку с бледным немецким солдатом, весьма проворным и ловким малым.

Я хорошо видел все несовершенство приемов, употребленных моим двойником Фаниковым без моего участия — без участия меня — разумного, волевого существа; в то время, как я-первый представлял собою лишь механическидвигающееся тело, Фаников-второй два раза был чуть-чуть не пробит немецким штыком, и я понял, что оба мы — я-первый и я-второй — погибнем, если я не соединюсь с Фаниковым-вторым и не сделаю его удары сознательными. Я достиг этого страшным напряжением воли, но как — не смогу объяснить. И тотчас же мои руки стали тверже, движения быстрее, я сразу подметил слабые стороны противника, обманул его ложным выпадом, упав на колено, и проткнул ему штыком ногу. От боли и неожиданности он открыл на секунду грудь; этого было вполне достаточно, и я поразил немца. Наша пара дралась дольше всех; я догнал ушедших далеко вперед своих и подумал: «Теперь я знаю смысл выражения — “выйти из себя”... Это опасно!»

Александр Грин

ТАЙНА ЛУННОЙ НОЧИ

Николай Селиверстов, рядовой пехотного батальона, в одну из светлых лунных ночей стоял на одиноком посту, на вершине гранитной скалы, вблизи Карпатских перевалов.

Главной задачей того ответственного пункта, на котором оказался в эту ночь Селиверстов, было — заметить возможное обходное движение неприятельской колонны; относительно этого имелись сведения, указывающие на возможность данной опасности.

Скала вышиной футов пятьдесят господствовала над местностью. Со стороны гор скала примыкала к узкой, глубокой пропасти, со стороны равнины открывался ясный лунный пейзаж, ограниченный на горизонте дымной рекой и черной полосой леса. За пропастью, по ту сторону ее, возвышался ряд более высоких скал, поросших кустарником и представляющих отличные места для засады.

Селиверстов стоял на небольшой каменной площадке, вполне сознавая, что яркий свет луны ясно показывает его фигуру по ту сторону пропасти. С той стороны часовой был виден, как яичко на бархате.

Любой шатун-гуцул, среди которых осталось еще немало приверженцев неприятеля, мог выследить этот пост и донести по адресу или же сам подстрелить солдата. Селиверстов знал, что этот пост, таким образом, очень опасен, и думал о смерти. Смерть представлялась ему похожей на мрачный, глубокий колодец, в котором на дне лежит темная синяя вода с отраженным в ней месяцем. Мысли о смерти, конечно, вполне естественные в боевой обстановке и в уединенном месте, — как это ни странно, развлекали Селиверстова. Он беспрестанно возвращался к ним, находя какое-то странное удовлетворение в попытках представить момент смерти, предвосхитить его.

На площадке скалы, где стоял Селиверстов, лежал крупный камень в форме наковальни, и лунная тень от острого конца камня, сообразно ходу ночного светила, медленно передвигалась слева направо. Вскоре она должна была коснуться края площадки. Усталый Селиверстов присел на камень, наблюдая за странными очертаниями тени, напоминающей меч. Неожиданно за пропастью раздался слабый

шум щебня, сыплющегося с тропинки, такой шум производит человеческая нога, раскатившаяся на крутом спуске. Селиверстов насторожился, и в этот момент за скалами грянул выстрел, прозвучавший одиноко и жалобно; эхо его, скакнув в пустыне слабыми отражениями стука, затихло. Селиверстову показалось, что он слышал свист пули.

Он переживал весьма странное состояние. Вместо обычного, казалось бы, в таких случаях — если не испуга, то, хотя бы, некоторого волнения, Селиверстов переживал некую апатию и полное равнодушие к выстрелу. Сознание опасно-сти как бы скользнуло по его душе рикошетом. Он продолжал сидеть, безучастный к только что прогремевшему выстрелу, и смотрел на тень, почти коснувшуюся уже края площадки. Наконец он поймал себя на том, что пытается определить время, в которое тень камня успеет коснуться края. Непосредственно за этим произошло в нем таинственное смещение, возбуждение чувств, и он понял, что не сидит на камне, а стоит на краю площадки и смотрит. Очень ясно, как в зеркале, увидел он себя лежащим ничком возле камня. Его руки, или руки его двойника, были широко раскинуты, из простреленной в сердце груди текла черная при луне кровь. Тогда он понял, что он убит и видит самого себя лежащим бездыханно. Но в этом не было ничего страшного.

Тень камня, имеющая форму меча, коснулась края площадки. Сознание исчезло, и похолодевший труп Селиверстова остался лежать до утра на маленькой, узкой площадке горной скалы.

Александр Грин

ЛЕГЕНДА ВОЙНЫ

В маленьком польском городе остановился немецкий кавалерийский отряд.

Трудно описать то, что сделали немцы с несчастными жителями; короче говоря, к вечеру половина жителей бежала из города, рассыпавшись по окрестным деревням и лесам, а те, кто остался, сидели безвыходно на квартирах, опасаясь появлением своим вне дома увеличить количество расстрелянных мужчин и изнасилованных женщин.

Светлые, осенние сумерки затуманили небо, когда майор Штейн вышел из ресторана, где выпито было им, вместе с другими офицерами, изрядное количество даровых напитков.

Майор Штейн, человек отличного здоровья и хорошего капиталца, очень боялся смерти; поэтому, перед отправлением на войну, взял от жизни в смысле легкомысленных наслаждений все, что могут дать деньги.

Это сделал он «про запас», рассуждая весьма резонно, что после смерти выпить и поразвратничать так же легко, как раздобыть птичьего молока.

Но к этому времени, о котором идет речь, приятные воспоминания майора о «запасе» иссякли, и он решил восстановить их, освежить, путем легкой рекогносцировки в каком-либо из неприятельских домов, где есть свежие, молодые женщины.

Майор Штейн всегда, отправляясь на охоту за приключениями, любил действовать в одиночестве.

Поэтому он не взял с собой никого из товарищей, вполне рассчитывая, что револьвер и сабля спасут его от возмущения безоружных жителей.

Он шел, небрежно покручивая усы, усмехаясь и напевая, по узким пустым улицам, где не видно было ни людей, ни лошадей, за исключением немецких кавалеристов, тащивших узлы с награбленным добром.

Солдаты, встречая офицера, отдавали ему честь, а он, козыря в ответ, смотрел на них с завистью, думая:

— Эти уже не потеряли времени даром. Ничего, останется и на мою долю!

Он прошел берегом реки, завернул в переулок и очутился среди множества садов, огороженных высокими заборами.

В одном из заборов заметил он настежь открытую калитку и подумал:

— А не пойти ли сюда? Место глухое и от центра далеко, наверно, никто отсюда не убежал, сидят и думают, что их не тронут! Хе-хе! Война есть война!

Поговорив так с собой, майор двинулся по извилистой, вечерней аллее, среди кленов и старых лип, на вершинах которых сидело множество беспокойных ворон, каркавших на непонятном вороньем языке непонятные изречения.

В саду было пусто и уныло; сделав несколько поворотов, майор Штейн подошел к двухэтажному каменному дому. Занавеси в окнах были опущены. Майор, набравшись беспощадной решимости быть неумолимым, но, вместе с тем — и обаятельным, постучал в дверь.

II

Постучал он раз, постучал два и, рассердившись, заколотил в третий раз что есть мочи руками, ногами и эфесом сабли.

По-прежнему никто не шел на его стук, даже не залаяла нигде собака. Он прислушался, но ничего не услышал, кроме унылого карканья ворон и шума осенних листьев.

Между тем, смеркалось и стало холодно.

Майор сказал:

— За то, что долго не пускаете меня, будет вам хуже, — и обошел дом, разыскивая другую дверь.

Скоро удалось ему заметить кухонную или черную дверь; она была не заперта, а только притворена, и майор, потянув за скобку, переступил порог.

— Какой стыд! Я, прусский майор, вхожу с кухни! — подумал он, осматривая плиту, полки с хозяйственным скрабом и остатки провизии. — Где же люди? Эй! Кто здесь?!

Он закричал, хлопнул в ладоши, оглянулся, подошел к кровати, на которой, вероятно, спала прислуга и отдернул ситцевый полог.

Кровать была пуста, но носила следы борьбы: смятое одеяло, сбитый на сторону тюфяк и масса черных женских волос.

— Эге, — прищурившись, сказал майор, но тут же споткнулся, наступив на что-то мягкое.

Нагнувшись, судорожно отдернул он ногу; из-под кровати, беспомощно разжав пальцы, торчала мертвая женская рука.

Жестокое любопытство охватило майора; схватив руку, холодную и немую, потянул он из-под кровати невидимый труп и вздрогнул: ему почудился где-то в углу, за плитой, тихий смех.

— А! Это коньяк! — сказал он, продолжая тащить.

Наконец, запыхавшись, увидел он перед собой милую крестьянскую девушку; платье ее было разорвано, ноги согнуты, волосы распустились, один, опухший глаз закрылся, а другой смотрел вверх безразличным стеклянным взглядом.

На щеках засохли слезы.

Под сердцем чернела рваная штыковая рана.

— Тю-тю-тю! — сказал майор, испытывая весьма сложные ощущения. В нем заговорил зверь; вид беззащитного, мертвого тела ударил ему в голову, как вино. Вынув, на всякий случай, револьвер, поднялся он по узкой крутой лестнице в верхний этаж и, нащупав в кармане походный электрический фонарик, осветил им первую комнату, в которую попал из кухни.

Тишина была полная, в затихшем доме глухо раздавались шаги и сумрачно звенели шпоры прусского майора.

Осмотрев комнату, обставленную весьма зажиточно и уютно и не видя никого из людей, Штейн хотел идти дальше, как вдруг свет фонаря упал на оконную портьеру, с

странно оттопырившимся низом ее складок.

Похоже было на то, что там, притаившись, стоит человек.

— Эй, выходи, кто там! — закричал, наводя револьвер, майор.

Но складки не шевелились.

Тогда, начиная пугаться, выстрелил он в портьеру; треснув, зазвенело оконное стекло и всколыхнулись темные складки, но признаков жизни не обнаружили.

Смеясь над собой, подошел Штейн к окну и отступил, бледнея: за портьерой, на толстом шнурке, висел старик с синим лицом, угрюмо застыли его веки над невидящими глазами, а руки, согнувшись, как бы силились опереться о подоконник.

— Вот так жильцы! — в страхе пробормотал Штейн, чувствуя, что ему уже смертельно хочется уйти из этого дома, населенного мертвецами.

Хмель выскочил из его головы.

Торопливо направился он в соседнюю комнату, где увидел подле дивана совсем маленькую, бледную девочку с перерезанным горлом.

Она сидела на полу, откинув головку назад, и не падала только потому, что диван поддерживал ее хрупкое тело.

Резкая глубокая рана на тонкой шее казалась повязкой из черного бархата.

Все платье ее было в крови.

— Война есть война! — сказал Штейн, пытаясь ободрить себя, и вспомнил завет Бисмарка: «Нужно подвергнуть жителей воюющих стран возможно большим страданиям и оставить им лишь глаза, чтобы они могли плакать».

Пожав плечами, прошел он дальше, в гостиную; там стоял открытый рояль и лежали на нем развернутые ноты.

Майор посмотрел их: то был похоронный марш Шопена.

— Дядя! — услышал он позади, — дядя!

Майор обернулся.

Девочка с перерезанным горлом стояла на пороге и улыбалась.

Кровь капала из ее горла на ковер, а она, как бы не замечая этого, тихо подходила к офицеру; волосы дыбом стали на голове майора, он затрясся и отбежал в дальний угол.

— Кто ты? — закричал он. — Кто ты и чего хочешь? Кто ранил тебя?

— Ты, — смеясь, сказала девочка, — ты ведь у нас был сегодня утром, — и мы играли в войну. Я здесь одна, папа спрятался, а Марина залезла под кровать и думает, что я ее не найду. А я вот нашла. Она тоже мертвая, как и я.

— Мертвая?! — в ужасе прошептал майор.

— Я мертвая, да. И ты мертвый. Ты ведь уже умер, — правда — смешно?

Она смеялась и подходила все ближе, помахивая вытянутой ручонкой, как бы подзывая майора к себе.

В оцепенении, бессильный шевельнуться, стоял он в углу и рассудок его мутился.

Вдруг призрак исчез.

Майор подошел к тому месту, где только что стояла девочка, прищурился, покачал головой и сипло захохотал.

Зеркало отразило его перекошенное лицо, трясущуюся голову и еще недавно черные, как смола, а теперь седые, белые, как молоко, волосы.

Утром, на другой день, эскадронному командиру был, как всегда, представлен рапорт. Рапортующий офицер сказал:

— По некоторым соображениям. г. командир, в рапорт не занесено одного происшествия: у нас есть помешанный.

— Кто?

— Майор Штейн.

ИЗЪ МІРА ТАИНСТВЕННОГО.



Призракъ русскаго офицера, явившійся на войнѣ болгарскому офицеру, сошедшему вслѣдствіе этого съ ума.

Антон Оссендовский

УСЛЫШАННЫЕ МОЛИТВЫ

Горячо молились в избе Акима Турина. Молились без слез, с крепкой, как камень, верой смотря на древние, до-никоновского письма, давно почерневшие иконы.

С темных, источенных червями кипарисовых досок сурово и пристально глядели лики святых. Много на своем веку видели эти суровые лики: и гонение ревнителей старой веры, и лихие времена, приходившие на Россию и уносившие людей, захваченных бурями и вихрями.

Молился старик Аким Турин и с ним молились две снохи его.

У всех было свое, особое и в то же время общее горе и глубокая, рождающая тревогу забота.

Два сына старика пошли на войну. Бог миловал их в бою и невредимыми были оба. Только два месяца уже прошло, а от обоих не было вестей.

Тревожились жены, тревожился и по ночам громко вздыхал Аким.

Но вздыхал он не по одним сыновьям, а еще больше по внучку Пете.

От младшего, покойного сына остался Петя. Матери мальчик не знал — умерла она при его рождении. Когда же вскоре преставился и отец, остался Петя на руках деда. Полюбили друг друга старый и малый и сделались неразлучными.

Подрос внук. Из сельской школы дед послал его в город, в гимназию. Понимал Аким Турин, что трудно темному, неученому в людской тесноте пробиваться.

А из гимназии Петя уж сам в университет пошел, да здесь его война застала.

Написал он деду письмо, что добровольцем записался, попросил благословения и скоро с полком ушел. Писал потом, что наградили его крестом за храбрость и в прапорщики произвести обещали.

Писал часто. Гордостью вспыхивало лицо деда, и большая, жесткая рука складывалась для крестного знамения.

Теперь замолчал и Петя.

А там, где лилась родная кровь, где выросли братские могилы, шел жаркий бой с наступающим врагом. Пядь за пядью защищали русские войска свою землю, не щадили жизни, не жалели кровавого труда.

Горячо молились в избе Акима Турина в тот вечер, когда тревога сильнее сжала и истомила сердца.

II

Сделав три земных поклона, Аким выпрямился и сказал:

— Помолились за воинов. Бог им защитой! Ничего, спасутся, знаю я!

Было столько убеждения и непоколебимой веры в слова старика, что обе бабы сразу успокоились и принялись хлопотать около ужина.

Старик же сел к столу и, достав газету, начал медленно, водя пальцем и глядя поверх очков, читать.

Мысли его, однако, скоро побежали туда, где проклятый немец засыпал наши окопы «ураганным огнем», где он пускал на наших защитников ядовитые газы и предавал огню беззащитные деревни.

Вспомнил Аким Турин тот день, когда он впервые услышал о выдумке немцев душить наших солдат каким-то ядом. Места тогда не мог найти себе старик. Ходил, как в чаду. Молитва на ум не шла. Аким ушел в лес и брел, не разбирая дороги, видя перед собою страшную картину, описанную в газете.

Вот глубокий окоп... На свежей зелени травы, как черная змея, как след огромного крота, вьется он и исчезает вдаль. Это оплот России. Там, за этой грудой черной земли, засели грудью своею защищающие родину и народ солдаты. Там среди них сыновья Федор и Дмитрий и он — внучек Петя, нежный, со звонким голосом и яркими, смелыми глазами.

Старик видел его в студенческой тужурке и не может представить его в жесткой, негнувшейся солдатской шинели.

Над окопом мелькают огоньки выстрелов, и вьется чуть заметный дымок.

Начался бой... И вдруг откуда-то издалека прилетело что-то грузное, заунывно воющее. Упало, вскинуло землю и камни, загрохотало, вновь разметало землю, дерн, песок и свистящие и жужжащие осколки. Красный дым, словно видение, вздыбился столбом и, медленно падая, полз по траве и наконец дополз до окопа. Здесь задержался, а потом начал переливаться вниз, туда, где были солдаты, сыновья Акима Турина и внук Петруша.

Что было потом, что увидел глазами своей души, он не хотел вспоминать и, вздрогнув, снял очки и взглянул испуганно и жалобно на черные лики святителей.

Вспомнил старик, что долго молился он потом и решил послать внуку дедовское благословение.

Туринский род — все от дальних прадедов были иконописцами старого склада. Сам Аким до пятидесяти лет занимался этим ремеслом и бросил его тогда, когда убедился, что фабрики и художники из ученых совсем забили иконописцев.

Аким Турин решил написать для внука икону — благословение.

На чердаке он разыскал маленькую икону. Была она написана, видно, очень давно, в каком-нибудь скиту, на дубовой доске. Время уничтожило изображение, и лишь кое-где виднелись еще следы сморщенной, отпадающей чешуйками масляной краски.

Отчистив старую доску, иконописец мелкими кистями написал иконку архистратига Михаила. Броню Аким сделал из куска красной меди и покрыл ее мелкою чеканкой.

Давно уже послал Аким иконку внуку Пете, но в это время внезапно прекратились письма.

III

Поужинав, долго еще сидели Турины, и свет в их избе виднелся далеко за полночь.

Уже пропели первые петухи, когда в Туринской избе обитатели заснули.

Разбудил их громкий стук в дверь. Зажгли свет и старик открыл дверь.

— Отец Яков! — воскликнул Аким, увидев священника.

— К тебе, Аким Никодимыч, с радостной вестью пришел! — заговорил священник, крестясь на образа. — Прости, что по ночи тревожу, да не хотел до утра откладывать.

Сев у стола и разглаживая редкую бородку, отец Яков продолжал:

— Брат ко мне приехал двоюродный. Священником служить он в полку, где внук-то твой находится. Сказывал мне, что Петруша-то твой уже офицер, и вся грудь в боевых наградах. В одном бою пуля ударилась в иконку на груди, да там и осталась. Жестокий был бой, и чудом спасся тогда Петя. Кланяться просил, а писать недосуг, новые окопы делают и к новому бою готовятся. Сказывал внук твой, что после производства в офицеры довелось ему повидаться с сыновьями твоими, оба здравствуют, а не пишут потому, что в походе были и в разведках. Рад я душевно, что добрую весть тебе, привести Бог позволил. Теперь пойду. Вдове Анфисе Смелковой письмо от сына из лазарета надо отдать.

Когда отец Яков ушел, в избе тихо молился старик Аким Турин.

На глазах его были слезы восторга, и светилась в них радость за услышанные молитвы и вера, крепкая, как старая дубовая иконка, задержавшая пулю на груди внучка Пети.

Лев Гумилевский

ХРАНИТЕЛЬ СВ. ДЕВЫ

По вечерам, когда вся деревенька незаметно терялась в сумерках осенней ночи, словно сползала по обрывистому берегу Самбры и исчезала в ее ненасытной глубине, темные человеческие фигуры испуганно пробирались через сад патера Бернаэрта и торопливо скрывались за дверьми его уютного домика. Они оставались у него недолго и, уходя, возвращали назад тех, кто встречался им в темной гущине сада, о чем-то пошептавшись сначала, но всегда возвращались так же испуганно и осторожно, как приходили.

Патер Бернаэрт встречал всех одинаково ласково и приветливо, усаживал за столом перед собой, не зажигая огня, и грустно спрашивал каждого, называя по имени:

- Что нового в твоём погребё, Фелисьен?
- Что хорошего скажешь, старичина Мобель?..
- Что принес с тобой ты из леса, Эдмонд?..

Они поникали седыми, взлохмаченными головами, утирали иногда слезы грязными, оборванными рукавами курточек и твердили одно:

— Все по-прежнему, отец Бернаэрт. Они никого не щадят, они ничего не жалеют и ни внукам, ни правнукам нашим не увидеть Бельгии такую, какою мы знали ее. И мы сами почти умираем от голода — много ли запасли мы в наших погребках и что нам оставили проклятые, проклятые немцы...

И все молчали, грустно поникая головами, закрывая печальные глаза. Потом тихо, тихо спрашивали Бернаэрта:

— Что вы знаете, отец Бернаэрт, скажите нам. Вы один только еще можете оставаться днем здесь, все разбежались, наверное, скоро придется уйти и нам..

Патер грустно рассказывал:

— Сегодня прошел новый отряд. Но не останавливались, потому что увидели, что уже здесь ничего не осталось, чтобы взять. Все взято: все. Завтра пройдет их обоз, вероятно.

— Почему и вы не уходите, отец? Подумайте и о себе...

Патер спокойно отвечал:

— Что могут сделать мне немцы, что? Я служитель Божий — и у меня ничего нет, ничего...

— Но ведь это немцы, немцы... Они беспощадны, как звери, для них ничего нет святого, недосягаемого. Разве вы не слышали, как разграблен костел в Эльокаме, как убит патер в Вальоне?

Патер оставался так же спокоен:

— Я буду хранить нашу часовню. Я буду оберегать св. Деву до того, пока есть силы, пока есть я сам... Я не покину ее ни теперь, никогда. Да, никогда.

Они преклонялись перед его твердостью и почтительно умолкали, унося от него частицу его спокойствия, его твердости, которые он передавал им в напутственном благословении.

Проводив прихожан, патер Бернаэрт еще долго сидел за столом, низко опустив голову, печально улыбаясь своим скорбным думам, потом вставал и смотрел в окно на часовню св. Девы, стоявшую на холмике, молился и оставался Ей верным и твердым в своей верности.

Часто далекое зарево стлало по полю длинные зловещие отсветы, которые скользили по крышам уцелевших зданий деревеньки и останавливались на матовой крыше часовни, сделанной из медных листов, тщанием его прихожан. И, взглядывая на нее, еще более скорбел отец Бернаэрт:

— Стала плеснеть медная крыша... Утром она не горит уже так ярко, как прежде, когда каждую субботу чистили ее досветла девушки деревеньки... А у него нет сил на это...

И тихо молился патер, тоскуя и вспоминая: еще так недавно, когда ярко горела медная крыша часовни, было радостно, нарядно и счастливо в каждом доме. А теперь все мертво. Куда-то исчезли наряжавшиеся по праздникам девушки, ушли на войну молодые, поразбегались старики. И почти во всей деревеньке один он:

— Хранитель св. Девы...

Как называли его возвращавшиеся в свои погребя прихожане...

И засыпал он в своей жесткой постели все с тем же скорбным лицом и печальными думами, с молитвой на впавших, уже бесцветных и высохших губах.

— Св. Дева, спаси и охрани Бельгию и ее короля!..

И прихожанам казалось иногда, что только заступничеством Св. Девы и молитвами ее хранителя еще живы они и охраняемы.

II

В маленькой, сводчатой часовне было тихо, темно и спокойно. Углубленный в свою молитву, патер Бернаэрт не знал и не слышал того, что делалось снаружи и только, когда заскрипела тяжелая, прикрытая им дверь, он оглянулся и прервал молитву:

— Что хотите вы взять у св. Девы? — спросил он по-немецки, спокойно идя навстречу заглядывавшим в двери немецким солдатам.

Они не отвечали, но пропустили вперед себя лейтенанта и, вероятно, сказали ему о патере, которого он еще не видел, войдя со света в сумеречный полусвет часовни.

Бернаэрт подошел к нему и повторил вопрос; тот дерзко взглянул на него, махнул рукою солдатам и, когда те вышли, — сказал:

— На этот раз св. Дева даст нам только... медную крышку: мы перельем ее в пушки и патроны и Она нам поможет уничтожить врага...

Он засмеялся и повернулся на каблуках высоких сапог.

— Это совсем немного, г. патер. Мы сделаем после вам новую крышу... Хотя и не медную...

Бернаэрт почувствовал, как трепетно забилося его сердце возможностью защищать св. Деву, как горячо разлилась кровь по всему его телу и наполнила его новыми силами и бодростью.

— Вы этого не сделаете, — твердо сказал он, идя вслед за офицером на высокое каменное крыльцо часовни, — вы

не должны этого сделать...

— А вот посмотрите, — холодно сказал тот, добавляя солдатам:

— Ну, ребята, живее... Снимите-ка эту крышу...

Десяток солдат, стоявших внизу, двинулся к крыльцу.

Патер вздрогнул и протянул руки вперед:

— Я заклинаю вас именем Святой Девы — не делайте этого...

На одно мгновение его величественный жест и торжественная речь остановили их. Но тут же злой окрик офицера, злобно отстранившего в тот же момент Бернаэрта, двинул их к ступенькам крыльца. Патер от грубого толчка и еще чего-то другого, подступавшего к горлу душащим клубком, затруднявшим дыхание, упал на колени и едва выговорил:

— Я умоляю вас... Заклинаю...

И, не вставая с колен, теми же протянутыми вперед руками, он загородил солдатам путь к двери, по которой было можно взобраться на крышу. Уже почти не помня себя, чувствуя только одно, что вот сейчас, именно сейчас совершится что-то очень важное, что вот сейчас он должен сделать, что-то нужное и высокое, он нечаянно, неожиданно впился руками в толстое сукно солдатской шинели и еще раз остановил солдат.

Солдаты терялись, не зная, что делать, вырываясь из рук патера сначала слабо, потом грубо и сильно, возбуждаемые злобными окриками офицера:

— Расстрелять... расстрелять...

Быстро падали силы патера. Разжались пальцы и выпустили солдат. И вдруг почувствовав, как в то же время теряется последняя надежда спасти от оскорбления св. Деву, он последним усилием воли толкнул себя быстро к офицеру и, почти падая, охватил его колени, сию секунду выговорить пересохшими губами, едва переводя дыхание.

И в тот же момент нелепо и страшно громыхнул выстрел, опаливший огнем и дымом лицо патера. Что-то сильное и горячее залило его лицо и толкнуло и уронило на каменный пол крыльца. И точно от быстрого падения вдруг потерялось сознание, падая в темную бездну, на мгновение

принявшую очертания сводчатой часовни, которая вдруг осветилась нестерпимым сиянием, окружавшим лицо св. Девы, склонявшейся над патером.

Оно кротко и ласково улыбнулось ему и растворилось в нестерпимо ярком сиянии, в котором все исчезло, и дивное видение, и часовня, и солдаты, и медная крыша, и сам патер Бернаэрт.

Алексей Будищев

КРОВЬ АНГЕЛА



Когда в хуторки «Ясный Вирх» вторично вернулись немцы, в господском доме расположился штаб 39-ой пехей дивизии, а в окрестных хуторках, разбросанных среди вишневых садов, разместились роты охранявшего штаб ландштурма. Вот тогда-то здесь и разыгралась та история, может быть, чрезвычайно простая, а может быть, глубоко таинственная, о которой и по сей час перешептываются еще все окрестности «Ясного Вирха» и будут перешептываться, пожалуй, лет пятьдесят и еще.

Нужно при этом сказать, что немцы — и солдаты, и офицеры — вели себя на этот раз из рук вон. Во-первых, они до того избили прикладами безумного Стася, того самого, который ходит по хуторкам и усадьбам в розовой бумажной короне на голове, что сломали у него три ребра, и только за то, что тот благодушно посмеялся над их касками.

Затем они изнасиловали нескольких девушек и даже девочек. Убили штыком мать одной такой несчастной, ибо та пыталась защищать свою дочурку. Обезглавили ударами палаша статую Богоматери около костела и, наконец, расстреляли ксендза Врублевского, строгого и гордого своим саном старца, за то, что тот в костеле всенародно призывал громы небесные на головы нечестивых. Собственно, после расстрела ксендза Врублевского и начинается ряд тех событий, может быть, и глубоко таинственных, которые завер-

шились затем кровавой катастрофой. И вот в каком порядке эти события следовали друг за другом в их странном сцеплении и чередовании. После смерти Врублевского, на другое же утро к его племяннику Владеку, семинаристу старшего класса, пришел Стась в бумажной розовой короне, раздвинул мальвы и постучал в окошко.

— Владек, — звал он его таинственно, — немцы ангела в плечико поранили, ангела, ангела, того, что Деве Пречистой кадит. Владек, иди сюда, — звал Стась в окошко рукою, — Владек! — И его глаза, всегда похожие на глаза испуганного ребенка, на этот раз были темнее, глубже и безысходнее.

— Идем посмотрим! Кровь у Ангела бежит! И-и-и! быть худу! быть худу! Этого не простит немцам Старый Отец! И-и-и! Ни за что не простит! И-и-и! Плохо будет немцам!

Стась даже жмурил глаза от страха и за полу тащил Владека с крыльца.

Лицо у него было такое, какое бывает у ребят, когда они грозят ребятам же гневом взрослых: таинственное, кроткое, но вместе с тем и строгое.

Его русые, курчавые волосы шевелились на плечах, колеблемые ветром, в колебалась розовая бумажная корона.

Владек точно заразился от него жуткостью.

Они побежали оба туда, к костелу, где на площадке, обсаженной тополями, стояла на черном камне Белая Дева, а напротив, на таком же черном камне, белый ангел, благоговейно кадящий Ей. Стась проворно взобрался на высокий четырехугольный камень, на котором стоял ангел.

— Вот видишь кровь на плече! Вот! В этом месте у него на плече выбоинка, словно пулей его ударили или саблей, в плечо. И кровь тут! — возбужденно говорит Стась, показывая Владеку, объясняя ему жестами. Владек увидел своими глазами кровь. Действительно, кровь. И выбоинка словно от удара, и в белой выбоинке алая кровь. Его лицо стало розовым и будто залихорадило Владека.

— Постой, постой, — забормотал скороговоркой и он. — Я побегу домой. Достану чистый листик белой пропускной бумаги и соберу эту кровь. И спрячу на память. Ты слы-

шишь? Все-таки это странно, чрезвычайно странно! Вот у меня даже зябнут руки!

И Владек побежал за бумагой, а безумный Стась стоял в это время на коленях и молился Богу.

— Умилостивись, Старый Отец, не истребляй их всех, хотя они и немцы! Старый Отец, разве они виноваты в том, что они немцы? — молился Стась кротко и с благоговением.

Между тем, Владек прибежал, собрал бережно пропускною бумагой кровь на плече ангела и спустился к Стасю. И тут лихорадка точно оставила его и разум снова вернулся в его голову.

Ласково похлопывая Стася по плечу, он говорил ему:

— Вероятно, все это произошло вот как... Ты знаешь, на эту статую, так же, как и на костел, часто садились голуби? И вот, когда немцы расстреливали дядю, одна пуля случайно скользнула по плечу ангела, когда на его плече сидел голубь, и пуля эта поранила голубя, и эта кровь, которую я собрал — кровь голубя. Это, правда, — странная случайность, но это так! Иначе что же может быть?

Лицо у Владека было холодное и строгое, когда он говорил все это, и выражало глубокую веру в свои слова, но Стась ему не поверил и расплакался.

— Я знаю, ангелу больно, — нашептывал он с глазами, полными слез, — немцы пролили кровь ангела, и как воздаст Старый Отец немцам!

В этот день Владек все ходил по хуторкам и оглядывал голубей, которые попадались ему на глаза, — разыскивал раненого голубя, но он такого не заметил. Лицо у него было печальное и строгое.

А на другой же день Стась опять постучал к нему в окно.

— Ты всю кровь с плеча ангела собрал — спросил он с грустной таинственностью.

— Всю. А что?

— А на плече ангела опять кровь, и на том же месте, — сообщит, ему Стась.

Владек собрал и теперь кровь ангела тою же бумагой и снова сказал:

— Значить, тот раненый голубь вновь сидел на его плече. Птицы тоже подчиняются привычкам. Ничего, Стасик, не бойся!

— Нет, я боюсь за немцев, — ответил Стасик, — увидишь, что будет!

Владек и этот день разыскивал раненого голубя, но не нашел. А через несколько дней Стась огромными прыжками бежал к Владеку и в испуге кричал:

— Владек! Владек! Владек!

Тот опрометью выскочил из хаты, и у него сразу же захолонуло на сердце.

— Ну? — спросил он.

— Ангел ушел и увел Чистую Деву! — задыхаясь, выговорил Стась.

Владек знал, что Стась никогда не осквернял уста умысленной ложью, но он воскликнул:

— Ты лжешь, Стась!

— Обереги, Боже! — поднял обе руки Стась и опять заплакал. — Быть худу, и-и-и, быть худу!

Владек схватил Стася за руку и побежал вместе с ним к костелу. Там своими глазами убедился он: не было ни Девы Пречистой, ни ангела, кадящего Красоте Непорочной, их не было на их черных четырехугольных постаментах.

Стась плакал и пел, воздевая руки:

— Аллилуйя, аллилуйя, умиловись, Старый Отец!

И синие недужные огоньки тлели в глубине его кротких ребячьих глаз. И слезы его падали, как крупный бисер, на землю.

Ночью долго не мог заснуть Владек. Будто все тмилось в горячей его голове и обволакивалось туманами. Но о-полночь, когда единственный в «Ясном Вирхе» петух, еще не съеденный немцами, гнал своим криком в темные тартары наземную нечисть, будто солнце вошло в голову Владека. Твердо решил он и сказал вслух:

— Это немцы сняли с постаментов и Обезглавленную Пречистую и ангела, кадящего Ей, ибо они видели, что народ начинает волноваться и по поводу обезглавленья, и по поводу крови на плече ангела, и немцы где-нибудь схоро-

нили их!

И тотчас же уснул крепко Владек.

Но народ заволновался еще более. «Ясный Вирх» шумел, кричал, собирался в кучки.

— Если Чистая Дева и ангел ушли от нечестивых, уйдем и мы, — шумели здесь и там.

И все честные ушли из «Ясного Вирха». Одни немцы остались там. Разбрелись все хуторки по белу свету. Только Владек поселился у старого пчелинца Антося Чупры, в полутора верстах. Да Стась скитался по окрестностям в бумажной короне, а ночевал по-прежнему у заколоченного костела возле запертых дверей. И тогда подошло то страшное и кровавое, о чем давно уже догадывался Стась. И подошло неожиданно и неотвратно.

Услышал Владек ночью глухие и протяжные взрывы за лесом и выскочил из хаты вместе с дедом Антосем. И видели они, двадцать багровых факелов поднялось за лесом, там, где стоял «Ясный Вирх». И ухало там оглушительно, и скрежетало зубами и визжало страшно неведомое чудовище, и дымом и огнем взбрасывало к самому небу. А потом только тихие алые факелы остались в небе. И тлели долго.

И бежали люди какие-то по лесу, и перекликались свистом в предутреннем тумане. Дед Антось и Владек все стояли, цепenea, смотрели и слушали, и зябли. А на рассвете пришел Стась с синим огоньком в глубоких глазах, в бумажной короне, и спросил:

— Видел? Слышал? Сбылось все, что сердце мое чуяло. Не пощадил их Старый Отец. Всех, с первого и до последнего, предал уничтожению! И-и-я! Как гневался Старый Отец!

— Как это было? — спросил, пристукивая зубами, Владек.

— Тридцать их пришло ночью, приплыли, как птицалунь по небу, — не услышать! Не увидеть! И каждый три бомбы бросил немцам! И-и-и!

— Партизаны? Солдаты? — пристукивая зубами, прошептал Владек. И синие огоньки затеплились и в его глазах.

Стась опустился на колени и крепко схватил обе руки Владека.

— Не знаю. Они! И-и-и! В лохмотья и мочалу рвал их тела Старый Отец и скрежетал громовым голосом! И-и-и! Как гневался!

— Так им и надо! — закричал вдруг Владек истошным голосом и, пав на колени, обнял Стася, и оба они заплакали горько. А Антось все вздыхал, покачивая старой трясущейся головой.

И, плача оба, те перешептывались.

Сказал Стась:

— Он их привел. Сам видел: Он! Тот, ангел кадящий. Я его сразу признал. Он везде первым шел! Он! Он!

— Ангел? — спросил Владек.

— Ангел кадящий, — ответил Стась. — Тот самый! Когда они уходили, я подошел к нему и спросил: «Как зовут тебя, ангел?» Он поглядел на меня, а лицо у него такое строгое-строгое, бледное-бледное... как у умирающей девы...

— Ну? — шепотом поторопил Владек, все еще изнемогая от озноба.

— И он ответил мне: «Гавриил!» — плакал Стась...

Д. Балик

КАНТОР

«В эту войну так много жертв. Сколько крови льется на полях сражений — и конца нет кровавым потокам. Ой Боже мой, Боже!» — Так вздыхала жена Мойсея — канторша; жена того Мойсея, который известен всему городу своим голосом. Не напрасно же и почтенные седые евреи (даже сам раввин) говорили ему: «С таким голосом! С таким голосом, Мойсей, тебе надо быть кантором в столице, в самой лучшей синагоге столицы». А Мойсей робко вслушивался в эти слова, верил и не верил им; никак не представлял себе, чтобы можно было жить где бы то ни было еще, кроме своего родного города.

— «Ой Боже мой, Боже!» — вздыхала канторша Роза, укачивая ребенка — и с тоской прислушивалась к тишине дома. Прислушивалась напряженно, словно боялась, что обманывает ее эта тишина, что скрывает в себе грозное, неумолимое; боялась, будто в гробовой тишине таится несчастье.

Тени от вздрагивавшей лампочки яростно бросались на стены, расплывались, закрывая старые, уже почерневшие обои; на мгновенье погружали комнату в мрак, и тогда не видно было даже красного гребня чадившей керосиновой лампы. Но гребень вспыхивал снова; перебегали тогда тени на занавески, в полоску белые занавески-ширмы, за которыми спал измученный за день работы кантор.

Гребень вспыхивал сильнее, и вздрагивал живым блеском медный самовар на столике у окна, хмуро глядели невымытые стаканы и чашки, кое-как, в куче безобразной приютившиеся среди крошек булки, черного хлеба, среди кусков селедки и лука. Поднимался за стеклом лампы огонь, изгибаясь, вытягивался, и тускло озарялось лицо бледное еврейки, с выразительными темными глазами, словно вдавленными в него... черная коса. А в колыске лежало маленькое существо, с такими же, как у матери, черными волосиками на голове, закрытое ватным одеялом.

Ночной ветер врывается в открытую форточку и вздымал занавеску, ночной ветер охватывал холодными паль-

цами шею канторши — и вздрагивала канторша, поднималась было, чтобы закрыть форточку, но керосина запах душил; керосина запах не давал возможности заснуть ребенку; керосина запах отравлял и саму Розу.

«Ой Боже мой, Боже! война без конца!», — шепчет еврейка, — «видели вы что-нибудь подобное?». Разве это возможно, целые месяцы дрожать в страхе? Бояться показаться на улицу; каждую минуту думать о Зое, Михеле, Исае — этих маленьких ребятах — кричать им, чтобы не отходили далеко от дома. И чем виноваты ребята? Чем они виноваты, ну, подумайте же! Например, Миша — такой умный мальчик? по целым дням учится в синагоге и знает все лучше других мальчиков. Из Мойши выйдет самый лучший кантор. Или маленькая трех лет Зоя? или Исай? Зачем запугивать с малых лет? А Исай, хотя ему только семь лет, — посмотрите, какой впечатлительный. О! он ужасно впечатлительный мальчик. Поглядели бы вы, как он вздрагивает, бледнеет, сверкает глазенками. Даже с ребятами перестал играть. Задумчивый ходит, как отец! Ой! ой! ой! Скажите, разве это возможно? Надо же пожалеть сердце бедной матери-еврейки! Кто подумает о ней; о том, что пережила за эти дни несчастная Роза? Кто подумает о ней, кроме Мойсея? Но Мойсей измучился страшно. Мойсей молится, плачет! А о том, чтобы бежать — и слышать не хочет. Бедный мой, бедный муж! Прошли уже те вечера, когда кантор читал газету, еврейскую газету «Гейнт». В первые месяцы войны так было. Боялись, но мало; не так... А после? ох! Убила бомба отца, Давида, и совсем стало страшно. Разрушили немцы старый дом Давида: сгорел. И много тогда еврейских домов сгорело! От снарядов сверху убивает кого-нибудь в городе. Горят дома...

За окном пробежали чьи-то ноги; зашуршало у двери, зашлепало, застучало. И громче; еще стучит, властно стучит. (Кто бы это?) Канторша Роза бежит направо.

— Кто там?

— Откройте же! откройте скорее, Роза! Страшное...

— О, Бог Авраама, Исаака, Иакова! Что еще за несчастье?

Уж плакало мое сердце и тосковало, предчувствуя...

Глухо стучит засов где-то там, направо. Там, в темноте, вздохи, оханья, причитают. И из тени в свет вступали фигуры; из черной пасти коридора, а затем кухни, шуршало; шлепали фигуры. То фигуры Розы и Раи.

— Это вы, Рая? Ну, идите, идите! Тсс... Бедный Мойсей недавно заснул. Ох! Он сегодня целый день помогал Черноморским копать погреб, а вечером готовился к служению. Через 2 дня... ну, вы знаете...

— Вы слышали? Немцы! Отступление!

— Немцы? А... а... а...

— Отступление, говорю же вам! Город будет сдан немцам, если не...

— И будет сдан, говорите вы? будет сдан?

— .. если не Бог! Пришел только что из... ну, оттуда; солдаты отошли, говорят...

— ...Отошли? и... и...

— Да, солдаты отступают к городу, отступ...

Слова танцевали с тенями. Фигуры шептались, и шепот их прерывался вздохами; и снова шептались. Шу-шу-шу...

— Солдаты отошли... и... ши... ши...

— Будет сдан... отдан... город. Боже! Бог...

— А дети... и... и...

— О...о...о... Муж, евреи... Жители... и... и... и...

— Немцы-звери! Варвары! Вы же слышали.

— Шу-шу-шу-шу...

— Ну, конечно; ну, понятно!

— Вы спрятали все уже? Придется в погребах! Ох... хо... хо...

Слова танцевали, с тенями плясали. А ветер врывался в форточку и гребешок огня вздрагивал. Слова танцевали с тенями.

II

Наступление неприятеля было столь неожиданным, что думать о бегстве слишком поздно. Дорога уже отрезана

немцами несколько дней; единственно возможным являлось идти пешком через леса и болота, что виднелись на горизонте в тылу города. И, понятно, безумием бы было на это решиться. Какой смысл бежать по полям и упасть за городом? От случайной пули? От осколка снаряда? Скрываться в ямах, в лесу? Мерзнуть с детьми; переходить болота, обливаться осенним холодным дождем? И так перерезать почти всю губернию? десятки верст? Из-за слабой надежды на жизнь?

А родная земля? родной город! Если суждено умереть, если Бог хочет смерти его, Мойсея, и жены, и детей, — то лучше умереть здесь, на земле отцов! Лучше собственными глазами видеть агонию города; знать решительно все. Жена и дети спасутся в погребке: он принесет им пищу. Сам же поможет тушить пожары, извлекать мертвых из-под развалин дома; будет переносить раненых и хоронить убитых. Кое-что приходилось уже делать за это время; а теперь не бомбы, а снаряды полетят над городом.

И снаряды, действительно, описывали дуги — и падали, последние два дня.

Снаряды по параболам летали, разрывались в домах. Слышался грохот, отдавался в земле гулом; обсыпалась за досками-стенами погреба — дрожавшая земля. А бедная Роза плакала.

При каждом взрыве бедная жена кантора молилась: «О Бог Авраама, Исаака, Иакова!»... Прижимались к ней Зоя и Мойша; Исай же хмуро, зло даже, глядел из угла. Там, в темноте, сливалась его робкая фигура со столом и стульями. Белело чуть заметно лицо. А Мойсей молился часами.

Для кантора Мойсея сдать город значило умереть. И умереть не самому только, но и жене, и детям, и евреям, и христианам: русским и полякам. Сдать город значило пережить ужасы: бомбардировки, боя на улицах, насилия победителей; и пожары, и разрушенные здания, и смерть от снарядов, пуль... Смерть от руки ворвавшихся солдат-варваров... Но не один кантор боялся и знал. Все знали, переживая наступление врага, считая часы за месяцы. Все сплотились на пороге в вечность. Русские, поляки, евреи, соеди-

нившись, помогали друг другу. Доставка пищи, рытье «подземелья» распределялось незаметно между всеми. Вечность сплотила их.

Потому-то днем молился кантор, а ночью — выходил наверх, на улицу. Ночью доставляли хлеб, овощи, воду; ночью тушили пожары и освобождали задохнувшихся от дыма в погребах людей. И переносили подальше от зданий «жилища»; копали на огородах, устраивая под землю «дома».

III

В этот третий день уже долгое время слышался рев пушек. С часу дня гремело поле за городом, и от гула звенели стекла, и от гула земля стонала.

Пушки грохочут и гремит поле. Громом гремят, непрерывным громом грохочут пушки.

И падали каменные стены. Падали каменные стены домов, загоралось то здесь, то там, мостовая взлетала на воздух. Камни мостовой высоко поднимались и падали, и падали грузно, разбивая все на своем пути. Кричали, плакали. Пролетали пожарные в касках с одного конца города в другой.

Красное пламя освещало улицы и суетившихся людей. Красное пламя шипело под струями воды. Золотом горели каски. Истекали кровавым светом пламени золотые каски. Красное пламя освещало их.

А там, возле стен, незаметно несли что-то, укрытое чем попало: и черным, и белым. Шли смело; не боялись ни взрыва мостовой, ни горящих домов, ни грохота стен. Шли и несли ряд за рядом. Тихо, медленно.

То трупы несли.

И кричали под кирпичом раненые, стонали ни в чем не виноватые люди: визжали дети, маленькие дети — и резал ухо этот писк, визг, стоны и снова визг, долетавший до сердца. Не спасали погреба всех. И в ямы-жилища руши-

лись стены, падали камни; давили.

Визги сливались с грохотом, со свистом огня, с плачем и гулом пушек. Пушки на поле, за городом, гремели.

.

Кантор спешил теперь к семье. С обгоревшими волосами, мокрый от воды из пожарных рукавов, усталый, шел он. Звезды-дуги перекрещивались в небе; звезды-дуги-параболы разрывались, огненными спиралями охватывая город. Спиралями обертывался город; огненными лентами.

Блестящие дуги, подобно осьминогу, вцепились в город с улицами, домами; и высасывали кровь; в землю, в песок, в камни, в клочки железа обращали все.

И над кладбищем сыпались звезды — тогда гробы мертвых трещали, а мертвых тела, распухшие, безобразные, смрадные, выбрасывало из-под земли; гробы трещали, взлетали, и впивались в выброшенные тела тысячами деревянных игл. Отпадало мясо... А кости скелетов метались, сыпались; сталкиваясь, стучали и... падали.

От выброшенных тел смрад вился, клубами над кладбищем поднимаясь; ветром ночным те волны газов неслись на город.

Шепча молитву, шел Мойсей-кантор, поднимая глаза к ночи. В глазах тех спирали и звезды светились. К звездам-мирам, не к спиралям устремлялись взоры; призывал он Бога взглянуть на землю.

Шепча молитву, приближался кантор к своей семье; туда, где... на месте погребя высилась куча камня, земли и бревен.

Догорал дом...

IV

Утром потянулись евреи в синагогу. В белых, с черными каймами, платьях шли в субботу молиться. Спешили

проскользнуть; и зажимали нос от смрада, несшегося с кладбища, и вытирали глаза, плакавшие от дыма и горя. Шли евреи в синагогу и говорили про кантора; удивлялись, что в одну ночь, как Иов многострадальный, все потерял Мойсей; в одну ночь все дорогое погибло. Будет ли в синагоге?

Прошел раввин, — высокий старик с умными глазами; наклонив голову печально к земле, шел он. Прошли и Дудкины, и Абрамсоны, и молодые, и старые — все в эту субботу спешили молиться. А в синагоге уже горят свечи, и кантор, Мойсей, многострадальный Мойсей, дрожащим голосом начинает петь молитвы. Плачет раввин, плачут евреи...

А кантор поет.

За одну последнюю ночь Мойсей пережил годы; годами для него кажется эта ночь; годами ужаса: и пожары, и смерть жены, гибель детей всех; и звезды-спирали, и смрад от мертвых. Разрыли ночью же погреб; нашли... кровавую массу... Нет, то не была Роза; то не был Исай... и не дети его то были. О Бог Всесильный! И Зоя — не Зоя. Полголовы куда-то исчезло, а мозги выпали наружу, на камни. Скользкое, слизь... О нет, не Зоя! И не Мойша, с ужасом застывших глаз, а другой — вырезал острый камень, разворотил, высверлил дыру на месте глаза. О Бог Израилев! И трупы вчера, позавчера... все дни; трупы неделями. Девочка, русская девочка, которую вытащил он из огня с обгоревшими волосиками, льняными... А когда вынес ее, девочку, то стало дурно. Уронил на землю; разбилась, упав с высоты. А отец с разорванным туловищем от бомбы! И гробы кладбища!... О... о... о... Покоя и мертвому нет — все в куски мяса обратилось... И смрад... Город, бедный город! Здесь провел он свое детство... Вон молятся бедные евреи, а что ждет их? и не только их, но и всех в городе? Еще день — падет город. Ворвутся победители — кровь, насилия, грабеж, убийства...

И кантор поет.

Несутся в мозгу ужасы; встают картины ужасов. И слова молитвы на мгновение походят на стон. Где-то молится еврей; стон тот Мойсея зажег в его душе молитву испуганную о помощи Бога. Подхватили его молитву, молятся

всей синагогой. Рвется плач к небу.

«Боже, спаси город! Сохрани всех живущих в нем! Избави от ужасов, от позора! Боже, спаси город!»

И кантор поет.

Все готов отдать он Богу. Только услыши Бог Израилев, Бог Авраама, Ноя, Исаака, Иакова, Бог многострадального Иова! Бог, услыши голос народа Своего!

Рвется голос кантора к сводам синагоги, с разрисованными на них животными, с звездами. Рвется голос Мойсея; песнь его долетает до раввина и даже до Заповедей. Несется в высь, к небу.

К колонам синагоги прижались евреи; на скамьи опустили головы — и слушают тот голос, ту молитву за всех! Отдается в душе их этот голос. Не нужно повторять устами слов. Душа молилась.

Новым голосом поет кантор; страстным, все рвущим из себя, все рвущим в себе.

В том голосе душа кантора Мойсея рвалась, плакала и просила за всех. «Боже, спаси город и сохрани всех живущих в нем!

Ты Бог — Един!

Ты Бог — Всесильный!

Боже! Спаси город! Услыши народ бедный Свой.

Возьми душу мою, Боже, и... спаси город!»

И упал мертвым на возвышении кантор. От разрыва сердца...

* * *

К вечеру город был спасен. Враги отступили.

Н. Киселев

КОЛДУН

Илл. С. Животовского



Нюшка никогда не верила, что ее дед колдун, но ей ужасно хотелось уверовать в это свято и нерушимо. Забившись с Палашкой в срубы и там еще присев в дремучий репейник, чтобы их уже никак никто не мог увидеть, разбирали деда по косточкам. Нюшка все сомневалась и колебалась, а Палашка, умевшая видеть одно хорошее и настоящее, прямо говорила:

— Штаны у него колдуньи, рубаха тоже. Он идет, а дух ему дорогу показывает.

Нюшка знала, что дед слепой, но она думала, что дорожку ему показывает не дух, а палочка, которой он тычет в землю перед собой. Узнавши от Палашки, что дух, она сразу все сообразила и с ликованием поверила.

— И верно! — сказала она.

Они взялись за руки и, запищав, выпорхнули из репейника. Вопрос был решен, и делать там стало нечего. Но дома Нюшку опять взяло тяжелое раздумье. Штаны у деда были такие же, как у всех, рубаха тоже. Нюшка попробовала пальцем глаза у деда, закрываются ли — глаза закрылись.

— Дед, ты колдун? — наконец, спросила она у самого деда.

— Что это, девочка? Какой я тебе колдун? — прямо ответил дед, без всякой хитрости.

Нюшке так жалко было расставаться со своей мечтой, что на другой день она горько нажаловалась на него Палашке.

— Запирается, — заплакала она.

— А, запирается! — обрадовалась Палашка. — А ты его

выведи на чистую воду.

— Я не умею.

— Слушай, девчоночка, — степенно, совсем как старуха, поучила Палашка. — У меня батюшка все знает — он одной рукой сто пудов поднимает. Если, говорить, колдун забирается, его надо на чистую воду. От него каждую ночь свечка ходит сама в хлев нечистому духу молиться. Надо только ночь не спать.

Обе с ужасом выпучили глаза друг на друга, потрясенные этой странной свечкой, и Палашка уже не в первый раз.

Ночью Нюшка старалась не спать, рассматривая какие-то золотые закорючки и сеточки, дрожавшие во тьме перед глазами. Потом закорючки пропали, промчалась в хлев молиться свечка. Нюшка — за ней, провалилась куда-то глубоко и вдруг уснула. Проснулась она белым рассветом от испуга, что уснула, глянула за полог к деду — деда нет, значить, прозевала. Нюшка запустила руку под кровать, нащупала там теплого щенка, забившегося в отцовский валенок, вытащила и стала им утешаться. Как вдруг дверь открылась, и за порог шагнул сам дед. Под мышкой он тащил громадную рыжую книгу, крышки у которой загнулись, как лодочки, а в руке держал тоненькую желтую свечку. Самое главное — свечка была налицо, и Нюшка вся обомлела.

Пока глаза ее, не мигая, застыли на свечке, книга у деда куда-то девалась, свечка легла на божницу, а сам дед повалился на постель, так что Нюшке стали видны теперь одни широкие подошвы с прилипшим песком и зеленым листиком. Нюшка смотрела-смотрела на них и опять уснула.

Опять Нюшке снилось что-то колдунское и очень явственное, но когда она проснулась, солнце резало глаза, и темный сон пропал без следа. В избе никого не было, все ушли на работу, и даже дед, верно, потащился на огороды сидеть вместо пугала. Было тихо и душно, летали мухи, и беззвучно играла кошка с котенком. Только грузный слепень, видимо, давно сошедший с ума, гудел на пузырчатом стекле, силясь вырваться наружу, а с другой стороны такой же тоже бился о стекло — тому хотелось попасть в избу.

Нюшка побежала искать дедову книгу — заглянула под дедову кровать, под комод, под кадушку. Свечка лежала, как вчера, а книги не было нигде. Зато Нюшка нашла на стене интересное и очень ценное медное колечко. Она его схватила, но колечко было прибито. Нюшка дернула, что есть силы, колечко отскочило от стены, вместе с ним и какая-то дощечка, и вдруг Нюшка увидала перед собой ее самую, рыжую дедову книгу с переплетами, как лодочки. Тяжесть в ней была непомерная, и Нюшка насилу грохнула ее на пол. Вся она снаружи была закапана белыми пуговками воска, опалена огоньком свеч и так славно пахла церковью. Углы окованы старым серебром, и потускнели и потемнели, и всюду на них из серебра какие-то страшные хвосты, головы, пасти и жала. Нюшка оперлась голыми ножонками в корешок и обеими руками отвернула крышку. Показались на глаза полинявшие красные буквы, все больше Нюшкиного пальца, из цветов и яблоков, а рядом с ними какие-то черные кружки, мертвые головы и гробы, и смерть, и тление. И дальше, листок за листком, все они же, и все краснее буквы, и все чернее головы и гробы. И как ни искала Нюшка какой-нибудь интересной картинки, ничего не нашла, кроме них, только измаялась вся и перепугалась, и уж сама не помнила, как втащила книгу на место и закрыла дощечкой.

Когда Нюшка выскочила из избы на улицу, на сухой зной и пыльную дорогу, она уже отлично знала, что в этой книге сказало, как надо вызывать бесов.

Палашке же еще яснее и точнее видно сделалось, что там же есть и о том, как и за сколько можно продать бесу свою душу.

— Ой, девонька, только узнает он все об тебе! Колдуны все знают, только понюхают, — пела она не хуже старухи Марьевны.

Нюшка весь день дрожала от страха, что дед узнает. Но дед два раза заходил с огородов в избу — раз похлебать тюри, в другой раз разуться — и ничего не узнал. Нюшка радовалась, что он не понюхал книги.

Вечером, как всегда, дед рано лег, но Нюшка опять решила не спать, и на этот раз каким-то чудом, в самом деле, не уснула. К полночи взошла луна, в избе стало светло, засеребрились в углу ведра, заблестал на стене качающийся маятник, засияла у порога клетушка с желтою соломой. Только в дедовом углу было по-прежнему темно, а если всматриваться туда, то покажется вдруг слепо там чей-то палец или мелькнул какие-то рога — лучше не смотреть.

Но вот там что-то скрипнуло, зашуршало, кашлянуло, поперхнулось. Дедовы подошвы исчезли и очутились на полу, поднялась его взлохмаченная голова и, творя Господню молитву, дед поплелся к стене, где книга. Нюшка думала, что уж теперь-то дед узнает все непременно, но видно, он опять не понюхал. С книгою под мышкой он зашлепал босыми ногами в дверь. Нюшка шмыгнула за ним. Роса густо и мокро выпала по домам, лугам и дорогам, но дед прямо босиком пошел по высокой траве на задворки и там попал на жесткую тропинку к гумну и до того прямо, без ошибки, словно бы глазом наметил. Шел он без палки, а и на тропинке каждую лужицу обходил сторонкой. Вот так слепой!

На гумне дед выбрал из угла деревянные вилы покороче, поставил их наземь вниз тремя зубцами, прилепил к черенку свою свечечку и затеплил ее от серничка, а книгу развернул и положил на телегу.

— Ночное бдение! Начало, — возгласил он громко и велеречиво, воздел руки к небу и затем поклонился земно.

— И покарай Господи царя Мамай и всех немцев его, и всю рать его семисотенную... — стал он покрикивать звонко и часто. — И еще покарай, Господи, всех присных его, пламя извергающих Пупа и Крупа, и дом Твой учреди во Иерусалиме-граде. И еще покарай, Господи...

Дед живо переворачивал лист за листом и водил по ним пальцем вкривь и вкось, высоко подняв голову и вычитывая словно из воздуха невидящими глазами все свои ужасные заклятия — но без книги, видимо, он молиться все же не мог. Никогда Нюшка не слыхала таких ужасных слов, как Мамай и немцы и рать семисотенная, и ей показалось, что это все бесы, и их дед вызывает и будет сейчас как-то

качать. Нюшка не выдержала от страха и жалости к этим бедным бесам и изо всех сил заработала голыми ножонками по густой граве назад домой.



А утро вспугнуло все село, и слово «немцы» не сходило у всех с языка. Кое-кто плакал, кое-кто причитал, но все говорили, что идут, что недалеко, что страшно, и что Бог весть, что будет. Нюшка понимала, что движется к ним откуда-то что-то очень неприятное, но она не могла взять в толк, о чем тут можно беспокоиться. Раз у них есть такой колдун, как дед, мамка может спокойно качать зыбку, а отец раскуривать трубочку, — дед возьмет, всех вызовет и покарает. И Палашка понимала все это совершенно так же.

Ночью Нюшка опять отправилась за дедом — она тянулась за ним, как морфинист за морфием. Но, помня вчерашний страх, не пошла к самой риге, а присела на задворках у плетня, на каком-то старом веретее. Отсюда хорошо видно было, как затеплилась желтым огоньком свечечка, как раскрыл дед книгу и стал перед нею истово и достойно.

— И покарай, Господи, Эфиопа венского и венгерского, и эфиопа туркменского и аспидов его. И нам незрящим, по-

ле брани не видящим дай крепость духа Твоего! — возгласил дед, и на этот раз Нюшка внезапно отчетливо увидела, как над головой деда, словно, два серых пальца, выскочили вдруг два острые рожка.

Вслед за этим дед стал наливаясь-наливаться светом, сделался весь пламенный и отошел к сторонке, а перед Нюшкой вдруг открылось широкое чистое поле, дремучий лес и громадное болото. И идет по полю сама рать семисотенная.

— Видишь ли врага? — кричит дед.

— Вижу! — пищит Нюшка.

— Гляди, как я их покараю.

Он протягивает туда светоносную руку, и болото вдруг трогается с места и начинает грузно ползти навстречу людям, а поле плывет и отходит назад, и темный лес непроходимый тяжело движется стороной и громоздится на поле, и нет назад пути. Тонут лошади и люди, и протягивает дед другую руку. Могучий лес проходит по болоту и сравнивает все, и вновь стоит прежнее чистое поле на прежнем месте, и далекое пустое болото между ним и лесом. Пусто все и тихо, только солнце жжет и светит, да слышен где-то материн голос.

— Да вот она! — говорит мать, — экая баловница! Мы уж думали, в реку упала.

Нюшка подымает тяжелую голову, видит, что она лежит калачиком на веретье, глядит на солнце и на мать, но понимает, что хотя это все и настоящее, все же куда не такое дельное, как там.

— Как он враг-то! — говорит Нюшка матери с сонною улыбкой. — Сразу все пропали!

— Ишь ты! — смеется мать. — Набубнили тебе за день голову-то. А и вправду пропали. Рассыпались.

— Он колдун. Он все может, — говорит строго Нюшка и, махнув рукой матери, чтобы не мешала, снова в глубокой и счастливой дреме валится на горячее веретье, чтобы еще раз увидеть колдуна-деда.

М. Сазонов

БЛАГОДАТЬ СОШЛА

На том самом месте, где Выг-река от свету Божьего в зыбкую мшанину прячется, скит «Голубей, людей Божьих» стоит. Испокон веку, еще при Аввакуме-отце обосновались «голуби» на тех местах: любя им сторона залесная, непротопанная-непроезженная, ока начального далекая...

И живут себе.

Праведно живут «голуби», — с утра до вечера стихи поют немудрые, досюльного склада. Вина там, аль блуда никакого и в помине не было: избегали женской прелести «голуби», — больше друг друга держались.

Лишь два греха водились за «людьми Божьими»: до подати, да солдатчины были неохочи... Слово священное: «Кесарево — Кесареви, а Божье — Богови» — на свой манер толковали. Как подойдет, бывало, время «некрутчины» — и схоронятся по лесным борам да болотным становищам. Попробуй-ка сыскать.

А то просто «большую печать» на естество клали, а уж известно, какой воин, ежели да он скопец...

Никакого мужского в нем духу нет, ни усов, ни бороды, слабость бабья да и голос тонок.

И полагали «голуби», что Завет Божий выполняли; гордились тем, что крепкой да стариками налаженной жизни не ворошили.

Случалось, приходили к ним от «поповцев» просветители с книгами... Спорили... До грыжи надсаживались... А «голуби» все свое: «Жизнь наша праведная... От стариков пошла... Недаром благодать Духа Божья в виде голубином над скитом обитает».

И впрямь, — испокон века над моленной голубь-птица в резной камбушке-голубятнике жил... Думали «люди Божьн»: нарушь, ворохни жизнь, что стариками налажена, — улетит Благодать Божья, а с ней и птица голубь.

Вот, почитай, уж лет 20, как в том скиту «большухой» стоит мать Манефа.

Муж, покойничек, прижил еще двух сыновей Илью да Михайлу. Крепко Манефа любила парней, — не было поста-молитвы-деянья, чтоб не сотворила она ради спасенья их душ.

Старшего Илью в «большаки» скитские готовили, а потому, как пришел ему черед в солдаты идти, «большую печать» над ним совершили да на придачу еще схоронили парня к «сегозерским братьям», в места уж совсем непролазные, куда не всякая и птица то залетит, не всяк зверь забежит. С легким сердцем весь «чин» оскотеления совершила над сыном Манефа, потому полагала: закон, положенный стариками, сотворила...

Прошло времячко «некрутчины» — вернулся Илья и зажили... А тут и весна подошла... Лето... Про войну стали калякать... Антихриста... И крепко радовались «голуби», — радостно было и у Манефы на сердце: отстояли парня... А то... всяко могло случиться... И убили бы, чего доброго...

И задумали тем летом «голуби» новую молельню строить. На лесную вырубку гурьбой навалили...

А как переправлялись через реку, — лес тогда по реке гнали, и поскользнулся Илья... Не успели «голуби» креста сотворить, как сплотились уж бревна над его головой.

Погиб парень...

Поникла головой Манефа, услыша ту весточку, но не взвыла, не заохала, лишь с укором на небо взглянула да на глазах у всех лицо ее осунулось, нос на манер птичьего заострился, крепко-накрепко губы сжались, вздох затая...

Михайле пришел черед в «большаки» становиться.

Часто, бывало, уставится Манефа на парня и молчит, молчит... А глаза-то — ни дать, ни взять — будто на иконе старинного письма, так тоской и горят... Запала, видно, большая дума в Манефино сердце: иножды вырвется взгляд изпод надвинутого на самые глаза черного платочка, а нет уж в нем прежнего покоя.

Нет того, чем жизнь «голубей» допречь крепка была.

И чем ближе подходило время ставить Михайлу в скитские «большаки», тем все большее смятение охватывало Манефину душу.

А тут еще сны донимать стали.

Вот, почитай, в третий раз одно все снятся: стоят врата на манер царских, и ведут к ним две пути-дороженьки... А идут по тем путям людишки... хрещенные... Вида невзрачно-

го, с костылями-посошками — ни дать, ни взять — калеки с Божьей паперти... И одежонка-то рухляя. Так, — одно слово: голь перекатная. А у врат стоит Иоанн-Воин, приветно в пояс калекам тем кланяется и голосом ласковым выговаривает: «Подъте, гости желанные... Потчуйтесь, гоститайтесь у стола Царя Небесного».

Диву далась Манефа: и чего ради честь такая шантрапе перекатной?

«Воины... рать воинская... Живот свой за други положившая... Слышала, небось, про войну-то, — так оттуда все гости дорогие. И честь им потому великая, что самую большую они заповедь исполнили», — говорит Иоанн-Воин.

Головой покачала Манефа: и впрямь чудно... Инако учили «голубей» рукописные книги праведных старцев, инако и сами «люди Божьи» полагали праведную жизнь во спасенье.

Покачала головой Манефа, да на другую путь-дороженьку взглянула... На ту, что по-ряду с первой бежала... А как взглянула, да так и ахнула, так и заклекнулась: «О, Господи, Твоя сила!».

Видит, стоит он, Илья покойный... Как обряжали во гроб: в посконной поддевке, руки на груди крестом... Стоит, молчить, а в глазах... До самой смерти не забыть Манефе того взгляда... Умрет, с собой в землю унесет она сыновний попрек...

А голос Иоанна-Воина так и рокошет:

«Притчу-то о званых на Вечерю забыли?.. Побрезговали зовом Царя Небесного?.. Мамоной ослепились? А того не ведали, что через войну, да через страданья и слезы, как через пиршественную храмину, Господь вас к спасенью звал...

Не откликнулся кто, — сам себе затворил двери к вечной радости... И сядут на почетных местах — те убогонькие, с посошками да костылями. Сядет рать воинская...»

Открыла глаза, села на постель Манефа, — вся в холодном поту от виденья...

«Погубила... погубила, окаянная, свое детище... Своими руками двери к радости затворила», — лепетала она, щел-

кая зубами. Вдруг, словно кольнуло что «большуху», ажно вся выпрямилась... А это звон через ставню прокрался, к полуночнице «голубей» кликая.

Вспомнила, будто кто по голове ударил: сегодня за полуночницей положено Михайле «большую печать» совершить...

Заслышала тот звон, не встала и не сотворила Манефа «хреста» — как чином полагалось... Впервой за все 20 лет не протянулись руки к лестовке... Как была в белого точива рубахе до пят, да так и подобралась к углу, где морщинистый от трещин лик Аввакума-отца висел... Вплотную подступила к лику «большуха», не мигаючи, строгими глазами уставилась; ни дать, ни взять, — Судья Праведная.

Долго в упор друг на друга глядели, да только догорела ли свеча, огонь ли притулился, — но словно как бы виновато опустил глаза Аввакум-отец.

«То-то же», — строго промолвила, наконец, Манефа и, набросив на плечи пестрядь, — пошла в молельню. В ту самую минуту пришла, как каленое железо в обнимку с ладаном по потолочью сизым туманом стлалось. А «голуби» округ нагого Михайлы положенные чином стихи гнусавили.

.
.
.

Точно птица-Цесарь, выпрямилась Манефа:

— Будет!.. Не позволю!.. Хватит одной загубленной души!.. Мать я... слышите!.. Меня проклиняйте, а парня урочовать не дам... Будет!..

И, схватив дрожащего и голого Михайлу, она прижала к своей груди.

— Рехнулась «большуха»... Не в своем уме баба... — зарокотали, очнувшись, кругом «голуби».

— Ничего не рехнулась... Вот до сего дня — верно, была рехнувшись... А теперь — сама, своими руками отдам парня начальству... Отвезу в волость... В ногах вывалиюсь, а вы-

молю, чтоб взяли в солдаты... Пусть как и все — живот положит за други своя... Заповедь Божью исполнит... Война нонича, как пир у Царя Небесного... Всех Он зовет... Всех, кому спасенье дорого. Иди, дитячко... иди! — вдруг опускаясь перед сыном на колени, зашептала Манефа, — може, смилостивится Царь Небесный, приоткроет и Ильюше двери к вечной радости...

Один за другим расходились «голуби», а вслед за ними, воровато крадучись по потолку, уползали и ладан с каленым духом железным.

— Пропал скит... Рушила «большуха» дедовское житье праведное... Улетит Благодать Божья, а с ней и птица скитская голубь, — шептали старцы со старицами, расходясь по келейкам...

Румяная заря занялась над озером; любовным целованием прильнула к росистому бору, а таратайка, громыхая колесами, увозила Манефу с Михайлом в волость...

Не живы — не мертвы, высунув головы, глядели «люди Божьи» на крышу молельни: там спокойно сидела себе голубь-птица и радостно помахивала головой вдогонку таратайке...

— Не улетел... Благодать-то осталась... — шептали кругом старцы.

— Знаменье... Перст Божий... — вторили старицы.

В лесу чиликали первые птахи... Где-то сладко вздохнула земля:

— Благодать это сошла, «люди Божьи, голуби».

— Б л а г о д а т ь с о ш л а!

Пимен Карпов

ЗАПОВЕДЬ СОЛНЦА

Илл. Г. Георгиева



I

Под сизыми зорями гадал Софрон о Кирилле. А звезды полыхали в закатной темени, заходили, прощаясь с полем.

Софрону верили все, как Богу. Да и как не верить: потайную заповедь знал. Только слова Софроновы не всяк раскусить может заговорные.

Невесел что-то Софрон. А бывало — о радости только и твердил. Теперь же радость Софрону — не радость. Разгорайтесь, пророчьте радость, звезды! Сын, красавец-первенец Кирилла, на войну от Софрона ушел, да и — ни духу. Но это Софрону испытание. Не забыт он звездами! В поле, в лесу поет песни, беседует с Богом.

А в черной хвое, за хатой Алена-то, любжа Кирюхина, как убивается...

— Ну, што воешь?.. — кричал на нее Софрон в глухую темень. — Надоела!

Маялась Алена:

— Не перенести мне горя-тоски... Не вернуть мне ясносокола, не обнять... Ах, чую, уж забыл он меня!.. Погадай мне о нем, отец...

— Крепко, поди, любила его?.. — пытал из-под стрехи взлохмаченный Софрон. — А все молчала, скрытница!

— Ой, крепко! — билась в хвое Алена, металась. — А теперь не увидеть мне его больше!.. Чует мое сердце!.. Ветер быстрый, неси ты мое прости-прощанье...

Подходил к Алене Софрон, кряхтел:

— А ко мне чего пришла?..

— Не мучь, вот что... — маялась Алена. — Открывай всю правду! Жив али нет Кирюха?..

— Радость будет, говорю.

Стонала Алена:

— Ой, то ли? Сны мне больно тяжелые снятся о Кирюхе...

— Кирюха жив, — крутил головой Софрон. — Тяжко, по-ди, без него?

— Ой, тяжко!

Софрон протягивал в сумраке к темной да статной Алене руки, глухо дышал ей в лицо. А она отбивалась, маялась: — убит Кирюха! А может— жив? Сладко цвело и билось сердце: жив, будет ее целовать в лесу до пьяна, до сердца...

II

Уже и бабы, окруживши хибарку, толпились у окон. Полночь шла. Молча вел баб Софрон на гору.

И, нарвавши в сосняке ночных цветов, загадывал. Все о том же — о лютой страде.

Много кое-чего знал Софрон. В сосняке пел песни земле, звездам и Богу. Гадал о судьбах мира.

Горе, горе миру лютому, беззаконному. Пройдет по нему глад и мор, и сеча ужасающая. Ляжет костями четь мира. От востока до запада, от севера до юга протянутся борозды, а борозды те — могилы. Не вырастут цветы. А будет только в буре кружиться да каркать черное воронье. Горе миру тьмы!

— Ах, что-то говорит та звезда!.. — в темени тревожились толпы, подымая корявые руки к кровавой звезде. — Не заходи, звезда, не заходи!.. Рассказывай правду...

В глухом звездном свете раздавал бабам Софрон сумрачные цветы и разгадки:

— Што вам мужья?.. Наша земля вся зацветает, аки вешний сад!.. Вижу по звездам: туга лютая будет... А горе тому, кто в туге радость забудет... А только будет на земле нашей радость великая...

Вздыхала толпа, воздев руки. Молилась Спасу:

— Ты спаси, Спасе, землю нашу!.. Христианство, мужиков, стало быть... Оглянись, Спасе!

А Софрон, уходя в осыпанную черемуховую заросль, бросал — загадывал:

— А будет солнце! Будут цветы!

III

Солнце пришло в лесную деревушку, — весть-письмо, радость землякам: Кирилл ранен, да солнечен, домой едет.

Толпы баб и мужиков жадно двинулись, захваченные вестью, на чугунку — встречать Кирилу.

В золотом жнивье поле рыдало, полное осенних бурь. Дни и ночи грохотали поезда с солдатами. Приходили невесть откуда, катились невесть куда. А ветер развевал желтый лес осени...

В лесу глухой полустанок забит был солдатами, лошадьми.

Подходили мужики. Совали солдатам молча хлеб, гостинцы. Размахивали руками... Лесной ветер развевал широкие бороды. Уходил в поля, наполняя их глухим воем...

А в душном тесном вокзалишке галдели, толпились бабы. Кому-то, вздыхая, молились.

И вот, подошел белый поезд с красными крестами на стенах. Тревожные понесли по полустанку крики: раненые. Толпы забурили.

Из заднего вагона вынесли Кирюху. Видно было только черное, как земля, острое лицо в пятнах черной крови, перевязанное белым, да белое покрывало.

Кто-то кричал:

— Скорее!.. Сдавайте!.. Поезд скоро отходит...

Бабы, ахнув, завывали дико и жутко. Мужики глухо закричали:

— Оттеда...

Оттуда, где души обожжены навеки.

Подошли раненые с перевязанными, окровавленными головами, бледные и как будто радостные. А видно было, что души их обожжены.

— Вы здешние? — спрашивали мужиков солдаты.

— Угу, здешние.

— Нам неколи. Поезд уходит. Мы что, мы разве страдали. Вот Кирилла, это — можно сказать, страдалец. А где ж его батька?.. Мы писали, значит, чтоб встречал сына... Вот и встретил — мертвого! А зато венец получит вечный. Судьба наша такая... Это ничего... Вечный венец...

Глуше, большее закричали мужики:

— А? Кого это понесли?

— Да Кириллу. Земляка вашего, стало быть. Убег он из лазарета, держали его, да убег... Чтоб побыть дома, да опять айда в огонь... А нам по пути, доктор смиловился, взял Кириллу домой... Письмо мы даже с ним написали батьке, чтоб встречал...

— Да ведь он ранен только был!.. Читали мы...

— Был, да нету... Немцы, вишь, искололи его всего... Не вынес сердега...

В толпе баб перед Кириллом без крика металась, рвала на себе волосы растрепанная Алена, распростертая, брошенная, как сломанный стебель...

IV

Запахивали бабы на зиму поле. А до того засевали озимь и молотили.

Была тогда надежда на радость, да все рухнуло. Кирилла, вон, и домой убег, да не выкрутился. А если кто и приходил — был молчалив, обожженный черным огнем.

В соседнюю деревушку проходил как-то с чутунки ра-

ненный. Да хоть он и смеялся, а никто к нему не подошел. Так и ушел сердега, не пригретый.

Знали, отчего не подошли: видели нем выходца из ада.

Туту несли селяки о сынах, братьях, отцах. Глядели на солнце. А оно радовалось, плясало, как завсегда.

Из вечера в вечер, толпясь в поле у избушки, все кляли Софрона: зачем растравлял души надеждами?..



Алена долго где-то пропадала. А вдруг и она отыскалась. Темным-темен был взгляд ее.

— Говори... — подступила она суровая, грозная к кудластому Софрону. — Какая твоя потайная заповедь?.. Какое солнце?.. — Радость?.. А твой-то сын — в могиле?.. Вот те и заповедь! Вот те радость!

Захохотал Софрон и сказал:

— Не от меня эта заповедь... От солнца!.. Аль не поймете?.. Страда очищает радость... Муки нужны, чтоб радость была радостная... А смерть светлая!.. Што то за радость, коли я в холе... Коли я за логовом гонюсь... Как зверюка... А совести нету — солнца нету?.. Што то за смерть, коли я из-

дохну — не живши?.. Не горевши?.. Как червь... А?.. А на миру — что на огню — и смерть красна!..

— Молчи!.. Ты! — загудели в пороге толпы баб, замахали на Софрона кулаками. — Долго ль ты будешь мучить, окаянный?..

А Софрон протягивал к суровой, жутко молчаливой Алепе крепкие руки. Обнимал ее жарко:

— Радость великая будет, — дышал в лицо девушке глухо и горячо. — Возликует земля... А все от солнца!..

— Ведьмач проклятый!.. — визжали бабы. — Мучитель!.. Ворог!.. Бить его!.. А... — напирали они, рвали на себе рубахи, кричали остервенело.

Но ликующее наклонял в посеребренных кудрях лицо свое Софрон к жаркому лицу темноокой суровой Алены.

— А ты рада солнцу?.. А свету Кириллы рада?.. Придет он к тебе... В свете горнем... Потому — на огню помер... В свете... Жив он!.. Мы мертвецы... а он светлый жив!.. Рада?..

Губы Алены яркие запылали. Вздогнули, что-то прошептали. Да сплошной бабий крик заглушил все.

И отцветала багряная осень, и лютая глушила уже землю дикая вьюга, выла по лесам жуткие песни. Под снегом догорали поздние цветы.

А Алена в белые уходила просторы. Из деревни в деревню, из хибарки в хибарку несла мертвым, оглушенным жизнью светлую заповедь — радость:

— Радуйтесь, сестры!.. Убитые встают из могил. Мертвецы — вы, а они — живы, убитые на миру, светлые... Живите ж и вы! Радуйтесь!

Когда же бабы пятились от нее в ужасе, она бросала в толпу гневно и грозно:

— Вы! Слизь несчастная! Вы не рады солнцу?..

— А ты не нагоняй жуть... — дрожали бабы. — Видано ли это, штоб вставали из могил?.. Твой Кирилла, поди, не встанет...

Как будто этого и ждала Алена. Вскидывала крылатые ресницы, цвела:

— Кирилла? Он воскрес. В духе воскрес.

В снегу догорали поздние осенние цветы.

Примечания

И. П-ский. Легенда

Впервые: *Огонек*, 1915, № 19, 10 (23) мая.

А. Степанов. Дело с белой птицей

Впервые: *Модный свет*, 1915, № 1.

М. Б-р. Легенда Зачорохского края

Впервые: *Огонек*, 1915, № 20, 17 (30) мая.

Отметим, что на следующей странице этого номера журнала рассказ дополняет ура-патриотическое стихотворение некоего «А. Г-ко»: «От Батума грозной силой / Смело вдоль Чорох-реки / В горы двинулись лихие / Т.....ские стрелки. <...> Не тебе уж, Полумесяц, / Силой меряться с Орлом! / Ты склонен пред ним навеки/ Русской пулей и штыком».

В. Полещук. Война

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*, 1916, № 70, январь.

Журнал «Война» (Петроград) выходил в 1914-1915 г. тематическими выпусками, затем с подзаголовком «Прежде, теперь и потом» (1915-16), с начала 1917 г. – с подзаголовком «Преступление и наказание» и существенно измененным содержанием. В связи с тем, что журнал систематически и чаще всего без указания источника перепечатывал материалы из других периодических из-

даний, включая провинциальные, установить первоисточники тех или иных публикаций представляется затруднительным.

Современная казачья легенда

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*, 1916, № 82, апрель.

Народная легенда о Суворове

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*, 1915, № 49, август.

Видение Вильгельма

Впервые: *Огонек*, 1915, № 5, 1 (14) февраля.

История о призраке «Белой дамы» – распространенная в Германии и восходящая к позднему Средневековью легенда, часто использовавшаяся в пропагандистской фантастике Первой мировой войны.

Белая дама. Рассказ прусского офицера

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*. 1916. № 81, март.

А-с. Черная кошка Габсбургов

Впервые: *Жизнь и суд*. Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*. 1916. № 85, апрель.

Вероятно, автор идентичен «Арамису», автору приведенного ниже рассказа «Привидение». Настоящее имя «Арамиса» остается неустановленным.

Эжен. Молния

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*, 1916, № 80, март.

П. Б. Привидение

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*, 1915, № 46, июль.

Н. Руденко. Желтая красавица

Впервые: *Огонек*, 1914, № 32, 10 (23) августа.

Б. Садовской. Двойник

Впервые: *Лукоморье*, 1915, № 23, 6 июня.

Б. А. Садовской (наст. фамилия Садовский, 1881-1952) – поэт, прозаик, литературовед, критик. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета, в начале карьеры примыкал к символистам, сотрудничал в ведущих символистских журналах, позднее – вне групп. Пользовался репутацией реакционера, консерватора и заядлого мистификатора; в его прозе часты пародийные и мистико-фантастические мотивы. С 1916 г. был частично парализован, жил в квартире, расположенной в Новодевичьем монастыре. Автор семи прижизненных стихотворных сборников, ряда книг прозы, романов, новелл.

Язычники XX века

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*, 1915, № 59, октябрь.

Г. Полилов. Перстень

Впервые: *Лукоморье*, 1914, № 32, 25 декабря, за подписью «Г. Полилов».

Г. Т. Северцев-Полилов (1859-1915) – беллетрист, драматург, выходец из купеческой семьи. По окончании немецкой гимназии путешествовал по Европе и Северной Америке, служил в торговых фирмах Лондона и Ливерпуля, пробовал выступать как оперный певец в итальянских театрах. После неудачной попытки организовать антрепризу итальянской оперы в Петербурге нашел себя в литературе, оставил большое количество рассказов и повестей.

Арамис. Привидение

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*. 1916. № 70, январь.

Г. Павлов. Двое

Впервые: *Лукоморье*, 1915, № 16, 18 апреля.

Г. Ю. Павлов (наст. фамилия Павиланис, 1885-1958) – поэт, писатель, драматург. Выпускник Николаевской Царскосельской гимназии. С 1918 г. жил в Москве. Автор ряда рассказов, напечатанных в периодике 1910-1920-х гг., в том числе военно-патриотических произведений периода Первой мировой войны, романа «Дом рабов» (1923) и др.

С. 81. ...*Иернефельдта* – Т. е. финского композитора и дирижера Армаса Яернефельдта (1869-1958).

С. 82. ...*Херна* – Имеется в виду ирландско-американский прозаик, переводчик и востоковед Лафкадио Хирн (1850-1904), много лет проживший в Японии и завоевавший широкую известность своими книгами об этой стране, переложениями японских легенд и т.д.

А. Грин. Бой на штыках

Впервые: *20-й век*, 1915, № 6.

А. С. Грин (1880-1932) опубликовал в годы Первой мировой войны множество мистическо-агитационных и фантастических военных рассказов. Многие из них отличались очевидной халтурностью. Исследователь творчества писателя В. Харчев приводит «перечень некоторых из нелепостей»:

«Тайное общество немцев ворует трупы с полей сраженья для пищи (“Кошмарный случай”), офицер лихо сражается старинным аршином и всех побивает (“Странное оружие”), медведь помогает охотнику поймать немца (“Медведь и немец”) <...> летчик, страдающий лунатизмом, безболезненно опускается по воздуху на землю (“Авиатор-лунатик”) <...> Рассказ “Вечная пуля” (“XX век”, 1915 год, № 26): мюнхенский изобретатель Иогансон придумал смертоносную пулю, которая летала над землей и всех убивала. Остановил ее Данило Горобец из Полтавы – поставил на ее пути бутылку пива: “Яка же немецка пуля на пиво решиться дрызнуть”».

Не менее нелепы и «реалистические», часто «ультракороткие» военные рассказы Грина. По мнению Харчева, эти произведения «тайно подрывали одиозные представления о войне» (подробнее см.: Харчев В. В. Поэзия и проза Александра Грина. Горький, 1975). Действительно, впоследствии Грин с осуждением писал о «симуляции воинственного бешенства» и утверждал, что «заворачивал на эзоповском языке <...> потаенно заушающие войну рассказы» («Вокруг развалин», «Новый сатирик», 1917, № 18). Однако в журналах военных лет разбросано немало произведений, где Грин выступает с вполне официозных позиций. В лучших военно-фантастических рассказах, впрочем, Грина интересует иное: мистические предсмертные откровения («Тайна лунной но-

чи»), раздвоение сознания или «выход из тела» («Бой на штыках», «Там или там»), новелла ужасов («Легенда войны»).

А. Грин. Тайна лунной ночи

Впервые: *20-й век*, 1915, № 15.

А. Грин. Легенда войны

Публикуется по: *Модный свет*, 1914, № 17.

Из мира таинственного

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*. 1916. № 84, апрель.

А. Оссендовский. Услышанные молитвы

Впервые: *Лукоморье*, 1915, № 41, 10 октября.

Антон (Антоний Фердинанд) Оссендовский (1876-1945) – польско-русский писатель, ученый, путешественник и авантюрист, человек с запутанной биографией, автор ряда фантастических и приключенческих произведений на русском и десятков книг на польском языке. Получил всемирную известность благодаря беллетристическо-документальной кн. «И звери, и люди, и боги» (1922) о гражданской войне в Сибири и Монголии и бароне Унгерне.

Л. Гумилевский. Хранитель Св. Девы

Впервые: *Война (прежде, теперь и потом)*. 1915. № 41, июнь.

Л. И. Гумилевский (1890-1976) – писатель, журналист. Уроженец Саратова. Дебютировал (как поэт) в 1910 г. Автор романов (в том числе вызвавшего резкую критику официальных советских кругов «Собачьего переулка», 1927), рассказов, фантастической и этнографической прозы, наиболее известен своими написанными для серии «ЖЗЛ» биографиями.

Гумилевский переехал в Петроград в 1914 или 1915 г. и в годы Первой мировой войны опубликовал большое количество военно-патриотических произведений. Как вспоминал писатель, «журналов издавалось множество. Начиная от “Журнала для женщин” и кончая “Огоньком”, мои рассказы появлялись везде, может быть, и не всегда к чести автора. Если рассказ не проходил в “Огоньке”, в вечерней “Биржевке” и “Солнце России”, можно было напечатать в “XX веке”, в “Пробуждении”, во “Всемирной панораме” и уж во всяком случае – в “Родине” Николая Альвиновича Каспари» (Гумилевский Л. Судьба и жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 34).

А. Будищев. Кровь ангела

Впервые: *Огонек*, 1915, № 52, 27 декабря (9 января 1916).

А. Н. Будищев (1867-1916) – прозаик, поэт. Выходец из дворянской семьи. Учился на медицинском факультете Московского университета. Еще в студенческие годы пристрастился к литературе, печатался в многочисленных периодических изданиях. Оставил романы, сборники рассказов и стихотворений.

Д. Балик. Кантор

Впервые: *Новый журнал для всех*, 1915, № 9.

Н. Киселев. Колдун

Впервые: *Огонек*, 1915, № 32, 9 (22) августа.

М. Сазонов. Благодать сошла

Впервые: *Огонек*, 1915, № 29, 19 июля (1 августа).

М. Г. Сазонов (? – ?) – беллетрист, в 1914 г. секретарь М. Кузмина, автор кн. рассказов «Уродливая маска» (1916).

П. Карпов. Заповедь Солнца

Впервые: *Огонек*, 1916, № 17, 24 апреля (7 мая).

П. И. Карпов (1886-1963) – поэт, прозаик, драматург. Родился в семье старообрядцев. Первые публикации относятся к началу 1900-х гг. Работал в Петербурге поденщиком, постепенно сблизился с кругами интеллигенции, начал публиковаться в периодике как поэт. Прославился скандальным романом о сектантах «Пламень» (1913), позднее конфискованным цензурой. До и после революции опубликовал ряд сборников стихов и рассказов, однако с середины 1920-х гг. и до 1950-х гг. был фактически отлучен от литературы; существенная часть творческого наследия осталась при жизни неопубликованной.

С. 147. ...*пятились от нее в ужасе* – В оригинальной публикации, очевидно, опечатка: «...пяться от нее в ужасе».

Все включенные в антологию тексты публикуются в новой орфографии, с исправлением некоторых устаревших особенностей пунктуации и наиболее очевидных опечаток. Издательство выражает сердечную благодарность А. Степанову за помощь в работе и ряд предоставленных материалов.

Оглавление

И. П-ский. Легенда	6
А. Степанов. Дело с белой птицей	9
М. Б-р. Легенда Зачорохского края	12
В. Полещук. Война (Белорусская легенда)	16
Современная казачья легенда	20
Народная легенда о Суворове	22
<i>Видение Вильгельма</i>	24
Белая дама. Рассказ прусского офицера	25
А-с. Черная кошка Габсбургов	29
Эжен. Молния. Сенсационный рассказ	33
П. Б. Привидение	38
Н. Руденко. Желтая красавица	42
Б. Садовской. Двойник	53
<i>Язычники XX века</i>	65
Г. Полилов. Перстень	66
Арамис. Привидение	75
Г. Павлов. Двое	79
А. Грин. Бой на штыках	88

А. Грин. Тайна лунной ночи	91
А. Грин. Легенда войны	94
<i>Из мира таинственного</i>	100
А. Оссендовский. Услышанные молитвы	101
Л. Гумилевский. Хранитель св. Девы	106
А. Будищев. Кровь ангела	112
Д. Балик. Кантор	112
Н. Киселев. Колдун	128
М. Сазонов. Благодать сошла	135
П. Карпов. Заповедь Солнца	141
П р и м е ч а н и я	148

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.